

10335/2

1981

№ 6.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 6

1981

10.335

1981



10335

1
2

10.335
1981

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР БАРАМИДЗЕ. Живительный импульс 4

ПОЭЗИЯ

ШОТА ЛИШНИАНИДЗЕ. Стихи. Переводы Юнны Мориц, Льва Озерова, Михаила Синельникова и Наталии Соколовской 9

ВАХТАНГ ХАРЧИЛАВА. Стихи. Перевод Юрия Анохина. (Вступительное слово Мориса Поцхишвили) 58

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ. Стихи. (Вступительное слово Георгия Маргвелашвили) 81

ВПАОЛА УРУШАДЗЕ. Стихи. 88

ПРОЗА

ГУРАМ ДОЧАНАШВИЛИ. Большой аме-
тист. Роман. Перевод Элисо Джалла-
швили. Продолжение 20

ДЖЕМАЛ ТОПУРИДЗЕ. Рассказы. Перевод
Александра Златкина 63

ФРАНСУАЗА САГАН. Смутная улыбка. По-
весть. Перевод с французского Аллы Бо-
рисовой 112

6

1981

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ТИМОФЕЙ МИТЯШКИН, ВЛАДИМИР
КИКАЛИШВИЛИ, АЛЕКСАНДР ЦИ-
РОН. Трудный путь к великой победе . . . 94

ОЧЕРК

ВЛАДИМИР БЕКАУРИ. Его года — его бо-
гатство 142

К 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

МАГОМЕД ГАСАНОВ. Дружба навеки . . . 153

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АКАКИЙ ВАСАДЗЕ. Стих—обвал снегов...
Перевод Ананды Беставашвили . . . 162

АКАКИЙ ХИНТИВИДЗЕ. «Чашники» — 250
лет 181

РЕЦЕНЗИИ

ЛЕВОН МЕРТЧЯН. Жил человек и любил
людей 185

ЛЕРИ АЛИМОНАКИ. Зеркало и ритм . . . 188

ЛИНА ХИХАДЗЕ. По поводу небольшого
рассказа 193

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Янцакифину 196

ИСКУССТВО

ВЛАДИМИР МАРКОВИН. Сентинский храм . 200

НЕЛЛИ МАХАРАДЗЕ. Его полюбил грузин-
ский народ 212

СПОРТ

ЛУАРСАБ ЕГОРОВ, ИГОРЬ КАЛАДЗЕ. Зве-
здный час тбилисского «Динамо» . . . 215

ХРОНИКА 222

119.511

«ВАШ ПРАЗДНИК — ЭТО ПРАЗДНИК ВСЕХ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, ВСЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
СОВЕТСКИХ НАРОДОВ. ПОВСЮДУ В НАШЕЙ
СТРАНЕ ЗНАЮТ: ГРУЗИЯ — ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ
УГОЛОК ЗЕМЛИ, ГДЕ ЖИВЕТ ОТКРЫТЫЙ СЕРДЦЕМ
НАРОД, КОТОРЫЙ ИЗДАВНА ЦЕНИТ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ БЛАГОРОДСТВО, ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД,
РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ В ДРУЖБЕ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.



Александр БАРАМИДЗЕ,
действительный член Академии наук Грузинской ССР, директор Института истории грузинской литературы имени Шота Руставели АН ГССР.



ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС

В 1921 году, в пору установления Советской власти в Грузии, я поступил в Тбилисский государственный университет и с полным основанием могу сказать, что вся моя сознательная жизнь прожита вместе с моей родиной — Советской Грузией. Я был свидетелем и очевидцем становления и расцвета ее экономики и культуры, утверждения коммунистических идей и принципов.

В дни праздничных торжеств, связанных с 60-летием Советской Грузии и образования ее Компартии, невольно обращаешь свой взгляд в прошлое. Я вижу себя студентом — одним из ее наиболее неимущего множества: студенты не получали стипендии, не имели никакого материального обеспечения и, как правило, нелегко зарабатывали возможность учиться и свой кусок хлеба.

Я с большим трудом получил тогда работу переписчика в Управлении железной дороги, а жил на чердаке в районе «Веры», недалеко от университета. На работу и с работы приходилось ходить пешком и посещать только те лекции, которые читались по вечерам. Практически я был студентом-заочником.

Вокруг университета была унылая пустошь, за которой пролегалo ущелье Варазисхеви — место городской свалки, очаг антисанитарии.

Единственным украшением в университетском дворе были семь саженцев платана, которые нынче буйно разрослись, возмужали, стали большими могучими деревьями, украшающими великолепный университет-

ский сад (сейчас это — место отдыха для жителей целого района), а мрачное ущелье Варзисхеви превратилось в прекрасную магистраль нашей любимой столицы, которая названа именем одного из основоположников грузинского университета К. С. Кекелидзе.

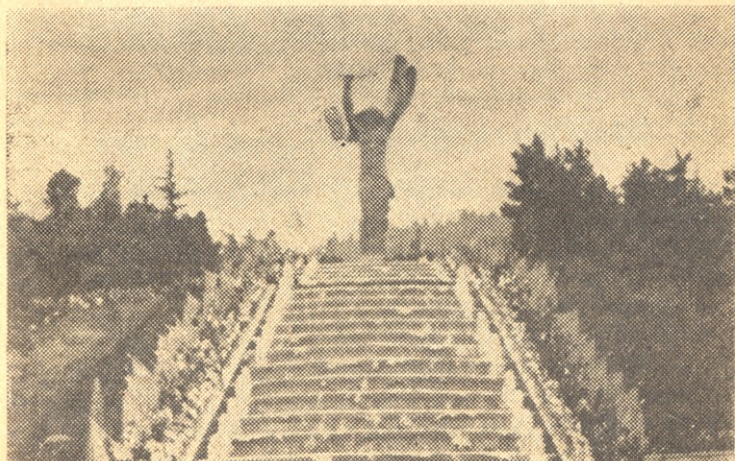
Сейчас даже трудно представить себе, как этот уголок выглядел 60 лет назад.

И если прибегать к сравнениям, то на любом участке, в любой области, отрасли видны огромные, ни с чем не соизмеримые шаги нашего продвижения вперед, наши грандиозные победы и свершения.

Вся моя жизнь, на протяжении которой я по мере сил и возможностей старался служить своему родному народу, кажется мне очень показательной и характерной для многих человеческих судеб за эти 60 лет.

Разве мог я мечтать о таком размахе научной и общественной деятельности, не будь этих огромных завоеваний Советской власти и созданных ею великолепных условий для самого разностороннего развития личности, полного раскрытия и использования ее духовного потенциала!

Я, как и весь мой народ, моя республика, переполнен огромной радости и гордости по случаю шестидесятилетия победы Советской власти в Грузии и



Скульптура «Победа». Мемориал Славы в парке Победы

образования Компартии республики. Это был подлинный праздник всех советских народов, триумф ленинской дружбы народов.

Конечно, эти торжества прошли с особым подъемом и взволнованностью еще и потому, что на них присутствовал руководитель партии и государства, выдающийся государственный и политический деятель современности товарищ Леонид Ильич Брежнев.

Мне выпала честь быть участником торжественного заседания Центрального Комитета Коммунистической партии Грузии и Верховного Совета Грузинской ССР, состоявшегося 22 мая, и я был захвачен той радостной и волнующей атмосферой, которая царила в зале Грузинской государственной филармонии.

Я был буквально заряжен интеллектуальной и эмоциональной силой, исходившей от мудрого и глубоко содержательного выступления товарища Леонида Ильича Брежнева. Нас окрылила и вдохновила его высокая оценка достижений нашей республики во всех областях политической, экономической, социальной и культурной жизни.

«Ваши достижения, — сказал Леонид Ильич Брежнев, — результат упорной работы сотен тысяч трудящихся республики. Это также результат организаторской и политической деятельности ЦК Компартии Грузии, бюро ЦК во главе с товарищем Шеварднадзе, энергию, творческий подход к делу и принципиальность которого все мы знаем и ценим».

Сделано многое — этот вывод Леонида Ильича Брежнева не только вдохновляет, но и ко многому обязывает каждого из нас. Только упорным трудом, успешным решением задач коммунистического строительства мы можем ответить на ту высокую честь, которую оказала нашей республике в эти праздничные дни вся Советская страна.

«Двадцать шестой съезд КПСС, — сказал товарищ Леонид Ильич Брежнев, — дал живительный импульс трудовой и политической активности всего советского народа. Решения съезда будят мысли людей, обостряют чувство нового. Атмосфера подъема, царившая на съезде, передалась всей стране. Весну новой пятилетки советские люди встретили неплохо, данные статистики го-



ворят об этом убедительно. Сейчас главное — не по-
рять темп, уверенно развивать достигнутые успехи,
двигаясь к новым рубежам. Думаю, что и ваша рес-
публика тут не подкачает!»

С высочайшим тактом, как отметил кандидат в чле-
ны Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП
Грузии тов. Э. А. Шеварднадзе, товарищ Леонид Ильич
Брежнев сделал и ряд критических замечаний, отметил
некоторые недостатки в работе нашей республики. И
это обязывает нас, по справедливому заявлению тов.
Э. А. Шеварднадзе, «...сразу же окунуться в работу,
сейчас же засучив рукава взяться за дело, практически
решая задачи, только что выдвинутые товарищем Л. И.
Брежневым».

Чувство особой гордости вселила в нас данная Лео-
нидом Ильичом Брежневым оценка труда творческой
интеллигенции, необычайной весомости ее вклада в
общую борьбу за утверждение высокого авторитета
нашей республики.

«А возьмите, — сказал он, — науку, культуру, ис-
кусство Грузии. Учеными республики сделано немало
выдающихся открытий. В литературе, живописи, музы-
ке, театре, кино, архитектуре Советской Грузии есть
замечательные творения, обогатившие многонациональ-
ную советскую культуру. Заметным взлетом художест-
венного творчества отмечены последние годы. И тут, ко-
нечно, играет роль направляющая деятельность ЦК
Компартии Грузии, который нашел верный тон в рабо-
те с мастерами культуры, помогает им, активно способ-
ствует их творческому поиску».

Мы все были глубоко взволнованы, когда Леонид
Ильич Брежнев, отвечая империалистическим страте-
гам, любящим разжигать страсти военного психоза, ис-
пользовал прекрасные строки из поэмы Шота Руста-
вели «Витязь в тигровой шкуре», переведенные заме-
чательным русским поэтом Н. Заболоцким:

«Не гордитесь, люди, силой! Бросьте глупую заба-
ву!..

Ведь довольно малой искры, чтоб большую сжечь
дубраву!..»

Леонид Ильич Брежнев не впервые обращается к
мудрости гениального произведения Шота Руставели. В

своем докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» руководитель нашей партии и правительства назвал «Витязя в тигровой шкуре» «древнейшим и вечно юным эпосом Шота Руставели». И в этом заложен глубочайший смысл: ведь Руставели был истинным глашатаем не только высокой дружбы между отдельными людьми, но и дружбы и солидарности между народами.

Этой дорогой дружбы, братства, подлинного интернационализма идет наша республика к своим вершинам.

«И именно сегодня, товарищи, хочется подчеркнуть, что всех своих успехов Грузия добивается в братской семье советских республик, благодаря помощи и постоянной поддержке всего советского народа, — сказал в своей речи на торжественном заседании ЦК КП Грузии и Верховного Совета Грузинской ССР тов. Э. А. Шеварднадзе. — В великой ленинской дружбе народов черпала и черпает Советская Грузия энергию и творчество в борьбе за подъем экономики. Великая ленинская дружба народов является источником вдохновения в развитии нашей культуры. Великой ленинской дружбой народов освещен весь 60-летний путь Советской Грузии».

ДОЖДЬ И СОСЕДСКАЯ ДЕВОЧКА

Весенний ливень в окна бьет, как в барабаны,
С балкона каждого свисает водопад,
И эта девочка соседская, как парус,
Она распахивает зонтик и ныряет,
Дрожа от радости, в небесные фонтаны,
Чтоб во дворе набрать ведро дождя,
Чтоб завтра утром — еще лучше, чем сегодня,
Блестели волосы у девочки соседской,
Чтоб завтра ночью — еще лучше, чем сегодня,
Не смог я справиться с бессонницей своей.
А со двора сбежали птички — лупит ливень!
А я в окно гляжу с улыбкою блаженной —
Ведь эта мокрая соседская девчонка
Двух мокрых птенчиков за пазухой укрыла,
Двух близнецов, у ней дрожащих на груди.
А на дворе поток раскачивает листья,
С деревьев сбитые, и лодки из бумаги.
Сползают капли дождевые с проводов —
За каплей капля, воздух, свет, за каплей капля,
И так же медленно я посылаю в вечность
Свой поцелуй для девочки соседской.

* * *

Если бы не было в мире ни малости
Наших страданий, хвораний, усталости,
Если бы не было смерти и старости, —
Мир бы не знал состраданья и жалости.

Боль, ты меня обрекла на мучения,
Губы горчат, и синеют, и корчатся.
Все-таки, боль, ты — мое излечение,
Вестник надежд, благодати и творчества!

Истинно вынесу все испытания,
Только плоды безгранично, потомственно
Души, способные на сострадание
К боли чужой — еще больше, чем к собственной!

* * *

Душа моя, мечта высокая —
Спасти от темного и низкого,
Спасти далекого и близкого,
Смести убожество жестокое!

Когда я рад, я — враль отъявленный,
Не верьте внешним ликованиям,
Ведь радости мои отравлены
Чужой печалью и страданием.

Когда я счастлив от влюбленности,
Отравлен каждый миг мой благостный —
Ведь столько в мире озлобленности,
Ехидства, ненависти яростной!

А ты, душа, не знаешь зависти,
Ты любишь самого последнего,
Печешься о чужом неравенстве,
Дрожишь за жизнь тепла соседнего.

О, кто же, кто, мой свет таинственный,
Тебе воздаст за добродетель?
Конечно, я! Один-единственный
Ценитель твой и твой свидетель.

АПРЕЛЬ

Треплет волосы мне,
И гудит, и трезвонит, и свищет,
И щелчком дождевым хулиганит,
и давится смехом...

Тут за каждым кустом притаилась и дышит
шалунья.
Ей назло я поймал эту в крапинках божью коровку,
И лежит на ладони она, словно пуговка с платья,
И дрожат мои пальцы, как будто я тоже —
подросток,

Царя схоронив, — ужасно ленив
И глуп, как последний балбес,
Отпрыск державный, опупело тщеславный,
Свой соблюдал интерес:

Взяточник с воров, во времени скором,
Удавлены были не зря,
Ведь оба ужасно играли на нервах —
Не только царя восхваляли, во-первых...
Во-вторых, восхваляли не только царя...

С тех пор подхалим в непременном порядке —
И льстит, и ворует, и тяпает взятки,
Три службы несет подхалим-молодец,
И горя не знает — и сказке конец!

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКЕ

Не желал ты Испанию видеть в слезах и штыках,
И тогда тебе ангел на белых крылах в облаках
Вынес лиру златую и веточку рощи дубовой.
Но запрет огласил тебе ангел-хранитель суровый:
Федерико, не смей этой лиры божественной речь
Превращать в боевой, роковой, даже праведный
меч,

Федерико, сиди себе дома, не лезь на рожон:
Соловей на побоище — просто нелеп и смешон.
Божья милость нисходит с небес, но и божеский
гнев, —

Берегись, не снесешь головы, эту правду презрев!..
— О, гитара моя, мой малюсенький щит и оплот,
Баррикада поэзии, жаждущей вечных свобод,
Мы погибнем в обнимку, умрем, как любовников
двое,

Но поэзия — солнце на знамени вечного боя —
Федерико, о Федерико Гарсиа Лорка —
Это — чудовищно, это — дико,
Это — до крика! — прекрасно и горько.

Перевод Юнны МОРИЦ

Переводы выполнены по заказу Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным связям при Союзе писателей СССР.

I

Святая, грешная, родная мать,
Как ты истаяла! И как мне понимать
Тебя: в мгновенье моего рожденья
Не причинил ли я страданий, мать?
Не бойся, мать, ведь я ребенок твой,
Твой плод, твое прямое продолженье.
Чем помогу тебе я, неживой?
Целую волосы твои в смятенье.
Твой детский лоб целую горячо,
И губы, и покатое плечо.
Невидимый для глаз, с твоим спасеньем
Отца я поздравляю горячо.
Спасибо господу, — не погубил,
Не обездолил он сестер и братьев,
А мне дал ангел ощущение крыл,
И я могу вас заключить в объятья.

Как мне хотелось тоже подрасти,
Порадоваться жизни на припеке,
И мать любить, быть у друзей в чести,
Отца обнять и знать людские сроки.
Ты вытерпела собственную боль,
Мою с твоею я терплю двойную.
Теперь печальная дана мне роль —
Давно одежду скинул я земную,
И вот оплакиваю горько вас
Из тьмы небытия, в жестокий час.
Покинувшего отчую обитель;
Не голос мой вы слышите, а глас.

2

Какой дадите, матери, ответ
Созвездью прошлых и грядущих лет?
Кто позаботится о нашем крае,
Что, как лоза, вынослив в годы бед?
Кто будет виноград растить, беречь
Букварь, орнамент, волю глазомера?

Да сохраним — о том веду я речь —
Свою неиссякаемую веру,
Свою надежду и свой гордый нрав,
Все краски неба и всю сочность трав!
Петь, как Арагви, литься, как Риони,
Садами цвезть под сенью гордых глав!
— Где есть другая Грузия на свете?¹
— В земле...²

Увы, кто может сосчитать
Всех тех, кто был за эту жизнь в ответе, —
Земных корней и убиенных рать.
Мы не воздвигли бы Светицховели
И «Витязя»³ не снарядили б мы,
Когда б с надеждой чистой не глядели
На свет восхода, что встает из тьмы.
Да одарит тебя детьми судьба,
Да будет вещей птичья ворожба
И воркованье голубя, и трепет
Дубов! Да поднимаются хлеба,
Да зреет виноград! И колыбели
Почаще бы в домах твоих скрипели.
От пола пусть растет до потолка,
До звезд наш дом, поставлен на века.

РАЗГОВОР С ЧЕРТЕНКОМ

Порой из бутылки, не помня про тост,
В прокуренном джазовом гаме
Выходит чертенок и тянет свой хвост,
И вот — новоявленный Гамлет.

Взлохмаченный, как он вопит, бестолков,
Орет и кривляется хмуро,
И в руки сует мне, как строки стихов,
Стрелу, что украл у Амура.

¹ Строка из популярной народной песни.

² Из повести «Сурамская крепость» — о сыне, принесенном в жертву родине.

³ Имеется в виду «Витязь в тигровой шкуре», поэма Шота Руставели.



— Всю сложность свою, покрытую ржой,
Отбрось, не страдай ты впустую.
Хотя бы возьми ты титул чужой,
Хотя бы корону чужую.

Хочешь маску, парик? К чему
Лирические пассажи? —
Из гардероба черта возьму —
Сам черт не заметит пропажи.

О книге заботиться должно тебе?
Реклама, работай над нею.
Книга не интересна толпе,
Молва о книге важнее.

Будешь у модных девиц в чести,
Потчуй их блюдом острым,
И на эстраде гарцуй и верти
Стих свой в платъице пестром.

Поодиночке пиитов хвали, —
Каждого лично (шепотом!),
Всех остальных же в кучу вали
И отрицай всех оптом.

— Притчу жизни, чертенок, мне
Ты объяснил, как надо.
Скорее ты ангел в седой вышине,
Чем исчадие ада.

Я погрешил. Я оплошал.
Ошибся и справа и слева:
Карлика маленьким дэвом назвал,
Огромным карликом — дэва.

Если чертенка — вертлявый он —
В бутылке запру, — несомненно,
Как капитан, что тонуть обречен,
Ритуал совершу священный.

К чему он, этот никчемный скандал?
Пусть третий рассудит тонко:

Может быть, я напрасно страдал,
Испытывая чертенка?



КАРЛИКОВОЕ ДЕРЕВО

Деревья — песни леса и зари,
Они обычны и необычайны,
И сколько с ними ты ни говори,
Они, молчат, не открывая тайны.
Они хранят законы естества,
Круговороту времени покорны.
О чем пытается забыть листва,
То накрепко запоминают корни.
Но этот карлик — сын немой земли,
Природою покаранный жестоко.
Как заупрямившийся конь, вдали
Стоит он совершенно одиноко.
Бесплоден, покорежен, листьев нет,
Ночами ржет он в пустоту простора.
Несчастный видит сон далеких лет.
Могучий род загубленного бора.
Выдерживает ярость всех ветров,
Родных лесов напоминая детство.

Быть может, от монгольских табунов
Отстал тот конь, оставленный в наследство?

Перевод Льва ОЗЕРОВА

«МОИСЕЙ» МИКЕЛАНДЖЕЛО

Во взгляде — свет непостижимый бога,
И смертная пред ним бессильна плоть.
Коль в Моисее божества так много,
Каким же должен быть его господь!
Вдруг Библия раскроется, и Время
Отступит молча, и привычный миф
Заполнится видениями теми
И вспыхнет,
Все насущное затмив.
Он поднял жезл —
И хочешь ты взмолиться...

Лишь ангелам заметно: посох сей —
Совсем не посох... Божию десницу
К немому небу вскинул Моисей!
Народ гонимый рухнул всей толпою,
От манны ожил.
И, маня в туман,
На посох — дремной птицею слепую —
Спустились окоем и Ханаан.
Что гнев и жалость в нем соединило?!
В душе — стихии сочетались две,
Обитель рая, адское горнило
Умещены в едином существе.
Он — полубог и зверь лесной чащобы,
Он — исполин и темный троглодит,
И состраданье дышит пылом злобы,
Жестокость всепрощающе глядит.
Он все молчит — столетья мчатся мимо,
Таинственно молчание его,
Красноречиво и непостижимо,
И потрясает, словно волшебство.
В тебя взглянется властно и сурово,
Все, что твои не выскажут уста,
Прочтет в душе, не облекая в слово.
Он вечно нем.
Шумит лишь пустота.
И, может быть, мерещится провидцу
Мессии мудрость, новая стезя,
И череда преображений снится,
Бесчисленными бурями грозя.
И вложена божественная воля
В тот посох вещей. В тяжести жезла —
Стихий нерасколдованных дотоле
Живая мощь и сплав добра и зла.
Кисть живописца,
Меч первопроходца
И скипетр самодержца — все тщета...
Чего священный посох не коснется,
В том роковая есть неполнота.

И вот я слышу звук реза желанный.
Я грезю молитвенной объят,
И сладко дышат ладаном туманы,

Легенд и лавра льется аромат.
— Прости меня, создатель тленной плоти,
Ответь, недоумение рассей,
Но волей и борьбой Буонарроти
Ненайденный,
Чем был бы Моисей? —
К немому камню, чьи глаголы громки,
К пророку — мыслью прикасаюсь я,
И мрамора горячие обломки
Вливаются в глаза Небытия.



Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

ТИГР

Подвластен ли желанью схватки ты?
Что в сторону глядишь, боясь безумства?
Послушай, ты не тот ли самый тигр,
которого поверг юнец безусый?

Молчишь. Но притаился в горле рык.
Стоишь. Но для прыжка созрели мышцы.
Печален ты. Ты удивлен и рыж.
О зарослях и сны твои и мысли.

Боюсь тебя. Любуюсь я тобой:
из равномерных, словно строки — четких
полос, как бы из дерева — огонь,
поднялся зной медлительный и черный.

Твой мех роскошный — зароженье солнц
иль отблеск умирающий пустыни?
Охотники твой не прервали сон,
когда свою стрелу в тебя пустили.

Стыдишься ты бессилья своего.
Оно преувеличено порядком:
и в смерти сохранило естество
свои высокомерные повадки.

А в тростниковых дебрях строк моих
прошедшее бредет огромным зверем.
Оно зубцами стен сторожевых,
как лапою, в мои скребется двери.

Мой из глубоких мук взошедший стон
родным пространством сохранен пристрастно.
Столетия, миновавшие, как сон,
от рева моего знобит всечасно.

Нас только время разлучит одно,
меня и то, что лишь мое навечно.
От рева моего берет озноб
всю Азию, уснувшую беспечно.

Но не затем я прошлое хвалю,
дабы в его тени спастись тихо.
Оно лежит у ног, как шкура тигра.
И по ночам я снами тигра сплю.

Перевод Наталии СОКОЛОВСКОЙ

БОЛЬШОЙ АМЕТИСТ *Роман*

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ОН был в комнате Артуро. Нежась на широкой постели, лишь теперь почувствовал чуждую, непривычную мягкость пружинной кровати. Потянулся блаженно и внезапно всполошился, сунул руку под подушку — все десять драхм лежали на месте. Прощупал карманы брюк, нашел и ту одну драхму. Снова лег, успокоенный, натянул одеяло на плечи. Обвел взглядом комнату, на потолке темнело расплывшееся пятно. Доменико долго его разглядывал, и незаметно проступило знакомое лицо — глаза, нос, борода и поджатые губы.

Встать не решался — хозяева, вероятно, еще спали, не слышалось ни звука, ни шороха. Но и лежать дольше было невозможно. Стал озирать незнакомые вещи. В Высоком селенье не доводилось видеть подобных стульев и такого стола, ни такой изящной серебряной чаши... Нет, лежать он больше не мог, встал, босой прошел к двери, чутко прислушался, заглянул в замочную скважину — за дверью неподвижно, выжидательно стоял Артуро.

Доменико кашлянул.

— Проснулись, сеньор? — вежливо спросил Артуро.

Доменико одним махом очутился в кровати.

— Да, давно уже...

Продолжение. Начало см. в №№ 4 и 5.

— А я на цыпочках ходил, боялся потревожить, весело сказал Артуро, распахивая дверь. — Как лось, сеньор, прекрасно, да? Завтрак подать в постель или...

— Нет, зачем, — смутился Доменико, — не большой же я.

— Как угодно, мой юный сеньор, — и Артуро поклонился, улыбаясь, но когда Доменико натянул на себя рубаху, брюки и сунул ноги в истоптанные постолы, улыбка сменилась недоумением.

Доменико обернулся к нему и, хотя Артуро мгновенно отвел глаза, все понял.

— Здесь, в вашем городе... — нерешительно начал Доменико, — можно приобрести одежду?

— Почему же нет, как же нет, — оживился Артуро. — Были бы драхмы, простоквашу из птичьего молока достану, не только что одежду.

— Сколько потребуется...

— На обычную, какая на любом почтенном горожанине, и одной драхмы сполна хватит, а если не пожалеее еще две драхмы, я вам такую приобрету — слепой заглядится.

— Нет, такую не надо, — замотал головой Доменико...

Оставшись один, Доменико пересыпал звонкие монеты из-под подушки в карман брюк и тоже вышел на веранду — светило солнце. Спустился вниз, вошел в комнату, и при виде красивой посуды на белоснежной скатерти радость захлестнула душу.

— О, пожаловали, сеньор? Это моя супруга — Эулална.

— В добрый час ваш приход, сеньор, — женщина слегка приподняла подол длинного платья и грациозно присела.

— Здравствуйте, — ответил Доменико.

Женщина опешила. Метнула взгляд в Артуро и покинула комнату, оскорбленно вскинув голову.

— Ничего, сеньор, ничего, пустяки... Не стоит внимания.

— Какие пустяки?

— Видите ли, сеньор, здороваясь с женщиной, мужчине следует щелкнуть каблуками и отвесить поклон. Ничего, не принимайте к сердцу...



Доменико смутился.

— Я... я не знал. Пойду и... Как надо сделать?

— Вот так. Но сейчас не стоит к ней идти. Садитесь, пожалуйста, завтракать. Прошу — хлеб, сыр, масло, мед... Яйца вкрутую изволите или всмятку?

— Все равно.

— Тогда покушайте и такое, и такое. Вот вам рюмка-подставка, чтобы не держать в руке, — и неожиданно громко запел: — Зачем тебе серебро и золото, когда нечего есть! — И высоко поднял руку: — Куда нужнее вареные яйца-а-а! — набрал в легкие воздуха и грянул на высокой ноте: — А-а!..

Доменико оторопел, но Артуро, словно — что тут особенного, указал рукой: — А это теплое молоко, пейте, ешьте, прошу, а об одежде договоримся, надеюсь, чего говорить о цене заранее.

Настроение у Доменико упало, он равнодушно положил сыр на хлеб, нехотя откусил, и таким безвкусным показался тонко нарезанный хлеб — не то что рукой отломленная краюха деревенского хлеба.

— Если угодно, сударь, пожалуйста две драхмы и, пока завтракаете, приобрету для вас костюм.

Дома в Краса-городе были островерхие, розовые, голубые... Светило солнышко. По улице рука об руку прогуливались красивые женщины в красивых прозрачных платьях, с нарядными зонтиками, иные — с детишками в белых костюмчиках. Привалившись к стене, бездельно стояли мужчины, разглядывая женщин, по мостовой катил тележку зеленщик в длинной рубахе, и при виде зеленого лука и петрушки Доменико ободрился. Женщина в красном платье вела на поводке черную лохматую собачку, вдалеке взблескивала под солнцем река.

— Нравится? — спросил Тулио.

— Что?..

— Наш город.

— Очень.

На краю бассейна понуро сидел Джузеппе и, судя по его вздутым мускулам, размышлял.

— Т-се, — Тулио приложил палец к губам, шепча: — Пошли, пока не заметил, неохота с ним связываться.

Они на цыпочках свернули в сторону, а сзади кто-то завопил:

— Ага, попался, попался наконец!

Подросток лет пятнадцати грозил Джузеппе короткой палочкой. Возле него стояла испуганная женщина преклонных лет.

— Кто это? — спросил Доменико.

— Наш юный безумец, дурачок Уго, — осканился Тулио. — Любит изводить Джузеппе.

Мальчик кокетливо разводил руками, то и дело облизывая губы. Полным он не выглядел, но был пышнотелый, весь рыхлый, и жутко было смотреть на его лицо — лицо красивой увядшей женщины лет пятидесяти. Невыразимо прекрасные, косо прорезанные глаза его временами цепенели, делались льдисто-мерклыми, а потом в зрачках его взблескивали рыбки, лениво всплеснув хвостом, и, не сумев вырваться, отчаянно трепыхались.

— А-а, попался мне! — грозился Уго и жмурился, довольный. — Выпущу из тебя дух, не уйдешь от меня!

— Пошел вон, слюнтяй.

— Слышишь, бабушка, слышишь, да? Как же не убить его за такие слова! Неужто не заслужил он острый нож под ребро! Убери-ка своего сопляка, пока не разорвал его!

— Не сердись, сынок, не обижайся, сам знаешь, какой он, — жалостно сказала старая женщина.

— Не знаю и знать не хочу! Если тронутый, держите дома, запирайте и баста!

— Да к другим ведь не пристаёт, а тебя вот завидит и шалает...

— Меня?! Он со всеми такой. И к Цилио пристаёт, и ему грозит.

— Твои кишки — ножны, Джузеппе, не дрогнет у меня рука — всуну в эти ножны мой каморский нож.

— Ступай вон, тюфяк! Палочкой убить собрался.

— Не бойся, я и настоящий достану для тебя, и тогда уж держись, взмахну разок и.. увидишь...

Низкие пестрые столики и бамбуковые стулья с высокими спинками расставлены были прямо на улице.

У стены, прислонясь плечом, стояла статная женщина и щурясь — солнце било в глаза — наблюдая за прохожими.

— Что будешь пить? — спросил Тулио. — У нее все есть.

— Не знаю... Я не хочу пока пить...

— Чтобы пить, вовсе не надо хотеть пить... — ухмыльнулся Тулио. — Садись. Гляди, какая вдовушка...

Тулио беспечно закинул ногу за ногу. Доменико сидел весь скованный. Женщина грациозно оттолкнулась от стены и направилась к ним. При каждом шаге она чуть выгибалась вбок, и от этого по стану словно струился извив.

Слегка склонилась, опершись о стол кончиками пальцев, и снисходительно улыбнулась.

— Что будешь пить, Тулио...

— Пенистое. Свежее?

— Вчерашнее.

— Отлично. Для начала подай два... Будешь пить, Доменико?

— Как ты его назвал?

— Доменико.

Женщина беззастенчиво оглядела его.

— Откуда он?

— Я и сам не знаю. Откуда ты, Доменико...

— Из деревни приехал.

— И такой бледный! — удивленно проговорила женщина, и ее ласковый низкий голос разлился густым медом.

Доменико промолчал.

— Сейчас подам, — женщина отошла.

— В высоких бокалах подай, Тереза, — крикнул ей вслед Тулио.

Она кивнула, не оборачиваясь.

— А ты, кажется, понравился ей.

— Джузеппе идет?.. — Доменико испуганно пододвинулся.

— Черт, этот похуже Джузеппе.

— Здравствуйте, — поздоровался Эдмондо, присаживаясь к ним.

— Выпьешь с нами, Эдмондо? — с явной неохотой предложил Тулио.

— Да, выпью — я.

— Тереза, еще бокал.

Помолчали, потом Эдмондо сообщил:

— Правое ухо горит — у меня.

— Да-а? — с деланным интересом откликнулся

Тулио. — Значит, злословят — о тебе.

И действительно — злословили.

В роще за городом, на полянке, Цилио говорил глупо скалившейся девушке:

— Никак не отвяжусь от кретина. И сегодня за-
явился чуть свет — хочешь не хочешь, давай, говорит,
дружить.

— Какой чудесный день! Ах, какой чудесный день...
— ворковала девушка... — Давай побегаем по травке!

А Эдмондо, в городе, волнуясь отпил два глотка и поставил кружку.

— Не пьешь?

— Нет. Вообще стараюсь не пить — я.

— Почему стараешься не пить — ты?

Глаза Тулио лукаво заискрились.

— Не знаю... не знаю — я.

— За тебя, Эдмондо, будь здоров — ты, — Тулио
выпил. — Да, знаешь, Цилио искал тебя.

— Когда? — оживился Эдмондо.

— Недавно проходил тут. Сказал, что хочет ви-
деть — тебя.

— Правда? Где он?.. — Эдмондо встал.

— В роще, ждет тебя...

— Прошу извинить, приятно было посидеть с ва-
ми.

— Всего хорошего, всего... эдакий, — кинул вдо-
гонку Тулио и облегченно выдохнул: — Уф! Еле отде-
лался! — и захохотал. — Вот будет потеха! Ошалел
Цилио.

«Пора, — решил Цилио, присаживаясь возле Ро-
зины. — Пора...» — и, оглядевшись, опустил руку ей
на плечо.

Девушка залилась беспричинным смехом.

— Ты вот смеешься, Розина, — грустно сказал Ци-
лио, — ты смеешься, а знаешь ли, что означает круго-
ворот времени?

— Нет, не знаю, ой, как интересно, расскажи, Ци-
лио, ты так чудесно рассказываешь...

— В году четыре времени, — начал Цилио, обни-
мая ее, — лето, осень...

Желтый, вялый лист упал на стол перед Тулио, он
смахнул его и сказал Доменико:

— Шипучку пил когда-нибудь?

— Нет.

— Хочешь попробовать?..

— Не знаю.

— Тереза, нам две шипучки, да смотри, чтобы не-
теплая, как в прошлый раз...

— Потом зима отступит, наступит весна, — с чув-
ством говорил в роще Цилио. — Совершается круго-
ворот времени, и все времена года хороши, хороши,
правда, хороши?

— Да, — согласилась Розина, — только убери ру-
ру. При чем рука?

Цилио подчеркнуто грустно усмехнулся.

— Гм... Объясню тебе, Розина... Круговорот вре-
мени это чудесно, моя Розина, но плохо то, что при
этом время уходит, и не заметим, как нагрянет вдруг
неизбежная старость, и тогда-то пойдем, что мы оши-
бались, говоря: «Убери руку...»

— Что, что? — призадумалась Розина.

— Кажется, славный мальчик, — улыбнулась Те-
реза. — Одет с иголочки... но почему в зеленое, синее-
куда больше подошло бы.

— Почему?

— Потому что у него бледный цвет лица. Сколь-
ко тебе лет?

— Девятнадцать исполнится.

— Совсем ребенок. Как отпустила мать одного...

— У меня нет мамы.

— Нет мамы? — Тереза сочувственно положила
ему руку на голову. — Прости, не знала.

Доменико боялся шевельнуться — гибкие длинные
пальцы касались его головы.

— А здесь, в городе, у тебя есть кто-нибудь?

— Нет, никого.

— Бедняжка, — Тереза погладила его по волосам
и, чуть приподняв ему голову за подбородок, спроси-
ла: — Хочешь, поцелую? Но только в щеку...

— Убери, говорю, руку! — взвизгнула в роще Розина.
— Как не стыдно! Я тебя порядочным считала...

— Уйдет, и эта осень уйдет, — сказал Цилио и подумал: «Замужние намного понятливее, куда сознательно...» — И придет весна, буйная, цветущая, зеленая и эта поляна заперестрет безымянно-безымянными цветами...

— Безымянно-безымянными? — оживилась Розина.

— Да, моя Розина. Ты любишь их?

— Ага, ах, как ты чудесно сказал: безымянно-безымянными, да?

— Да. Но и они исчезнут.

— Как это — исчезнут? — разволновалась Розина и подумала: «У него красивые губы...»

— Исчезнут в круговороте времени. Все уйдем, исчезнем. Скажи мне прямо — я противен тебе?

— Нет, почему. Неужели мы правда уйдем, Цилио, нет, не верю, не хочу верить...

— Тогда зажмурься и увидишь, как сладостно течение времени...

И он осторожно поцеловал ее. Потом привлек к себе обеими руками и поцеловал крепче. Розина тоже обвила руками его шею, а когда Цилио поцеловал ее в третий раз, по спине его легонько постучали. Приняв это за поощрение со стороны Розины, он так пылко припал к ее губам, что она приоткрыла один глаз и... взвизгнув, вырвалась из его объятий, а потом, для виду, для человека, постучавшего по спине распаленного страстью Цилио, вlepила ему крепкую пощечину, вскочила и, подобрав длинный подол, опрометью кинулась прочь.

Оторопевший Цилио обернулся и так ошалело уставился на незваного-нежданного, точно видел его впервые.

А им был Эдмондо.

— Нравится шипучка, Доменико?

— Да.

— А я — я нравлюсь? — спросила женщина, грациозно подпирая рукой бок.

Доменико потупился.

— Ха, тебе такое счастье привалило, а ты даже не отвечаешь! — удивился Тулио. — Весь город за ней увивается, и безуспешно.

— Вы назойливые, а он славный мальчик.

— Малость стеснительный, но это не беда. Вчера выпил и все равно не пошел со мной к скверным женщинам.

— Правда? Говорю же, хороший мальчик. Зачем хорошему ходить к скверным?.. Посмотри на меня, не стесняйся.

Все так же подбоченясь, прищурясь, слегка проткрывши уста, она взирала на Доменико сверху вниз.

— Что ты привязался, остолоп!

— Мне... мне сказали, что ты искал меня.

— На кой ты мне сдался! Какого лешего пристал! Что тебе нужно в конце концов, что! — заорал Цилио.
— Отвяжись! Отстань!

— Тулио сказал, что ты ждешь меня тут.

— Ух, покажу я ему!.. А ты поверил, осел, да?

— Не осел я... — тихо возразил Эдмондо и понурил голову, но его вяло замутившийся взгляд на миг прилип к лицу Цилио. — Не осел — я... К дружбе с тобой стремлюсь — я.

— Иди ты со своей дружбой...

Неожиданно Тереза переменялась.

— Уведи его, Тулио, боюсь.

— Бсишься? Почему?

— Не знаю, — она и вправду казалась встревоженной.

— Что с тобой, Тереза? Его нечего бояться — до чертиков не напивается, не...


— Нет, не его боюсь.

— Кого же?

Женщина заулыбалась, снова оглядела Доменико и спустила засученные рукава, закрывая обнаженные руки.

— Себя, — сказала она своим приятным низким голосом.

И Дулио, такой, какой был, он вышел на улицу. Дулио, исполнявший достойнейшую, почетнейшую для краса-горожан функцию — главного советодателя, — вышел из дому, вырядившись в национальный костюм, сунув трость под мышку, вышел из дому именно такой, какой был. А какой он, собственно, был? Да, странно все же, каким должен был быть Дулио? О, сложный вопрос, — можно сказать, например, что



Дуилио был маленький и толстенный, но... Нет, нет, он покажется смешным, а это совсем ни к чему. может, сказать, что он низенький и худенький? Нет, нет, тогда Дуилио покажется маленьким... А что если — высокий и дородный? Нет уж, чего доброго подумают, что он большой и не только с виду, но и в переносном смысле, ведь каждый жаждет обнаружить в другом что-либо сокрытое, ну, а если сказать, что он был высокий и тощий, — так он не был таким, не был он и низкого роста, а тем более — среднего; каким же он был тогда, и как вы полагаете, можно ли найти слова, способные в точности описать второе лицо в городе? Слова-то, разумеется, всегда находятся. «Каким был Дуилио?» — «Таким, каким был» — вот ответ. Во всяком случае — исчерпывающий. А теперь последуем за ним, а то он вот-вот скроется за углом, и нищи его тогда. Итак, продолжим — Дуилио, такой, какой был, вышел из дому и чинно зашагал по главной улице. Встречные здоровались — мужчины почтительно приподнимали шляпы, если таковые имелись, женщины вежливо, но как-то небрежно улыбались, а Дуилио осыпал всех дружескими улыбками. Он остановился возле цветочницы. Она любезно выбрала ему белые розы, а Дуилио пошарил в кармане и так же любезно протянул ей ладонь с монетами, наградив продавщицу обворожительной улыбкой; монеты, позвякивая, посыпались в кувшин, Дуилио же получил в награду еще две розы и, провожаемый восхищенным, восторженным взглядом, направился дальше, к дому тетушки Ариадны на именины шалуны Кончетины. Не думайте, что в Краса-городе было много Кончетин, вроде всяких там Розин. Розинин день справлялся в стольких домах — не счесть. Кончетинин день являлся событием, и лишь избранные удаивались приглашения в старинный дом потомков знатного рода Карраско, в гостиную со старинной мебелью и старинным фарфором, где тетушка Ариадна в который раз проверяла список приглашенных — не упустила ли кого из достойных краса-горожан. Гостей еще не было, хотя ночной страж Леопольдино возвестил заспанным голосом: «Девять часов вечера, и в городе все в порядке-е» — в Краса-городе считалось дурным тоном вовремя приходить в гости. Тетушка Ариадна все же

начала волноваться, но тут озорно зазвонил дверной колокольчик, и в комнату впрорхнули подружки Кончетины — Сильвия и Розина, та самая, что была в роще, — чмокнули тетушку Ариадну, именниницу и поставили в изящную вазу прелестные гвоздики. Спустя миг раздался степенный звон, и в гостиную вступил степенный сеньор Джулио, друг юности и сосед тетушки Ариадны, и она, просияв, в награду мило-стиво поднесла руку к его губам, а сеньор Джулио с достоинством приложился устами, но, сказать правду, поцелуй пришелся по перстню, оставив неприятное ощущение. Вскоре пришли Антонио и Винсентэ, который вежливо, поскольку воротничок у него был застегнут, передал хозяйке дома извинения своей недавно обретенной супруги, не сумевшей прийти из-за недомогания. Немного погодя прискакали еще три девицы, знакомые Кончетины, и, целуя-поздравляя именниницу, зацепили взглядом Антонио и изумленно затараторили: «Чиесчитучатучицичимчисучила...», покатываясь со смеху. И когда разнеслось: «Де-есять часов вечера, и в городе все в порядке», пришел человек, не имевший передних зубов и потому улыбавшийся, не размыкая губ, как-то нескладно, неловко, короче — приглушенно, если уж была надобность улыбнуться. И все прониклись почтением, когда в гостиную семенящими, но весьма энергичными шажками вступил Дулио, такой, какой был, и подал Кончетине розы.

— Ах, что за прелестный букет! — воскликнула Кончетина и устремилась к вазе.

— Здравствуй, Дулио, — проворковала тетушка Ариадна — почетный гость склонился к ее руке. — Восхитительный букет! Обожаю розы!

— Для вас он слишком скромный, вы достойны более пышного.

Оживленно переговариваясь и пересмеиваясь, уселись за стол и уже провозгласили тост за именниницу, но в это время снова зазвенел колоколец и появился Тулио, молодой повеса, любимец краса-горожан и, по мнению самой тетушки Ариадны, многоискушенной, многоведающей, первый жених в городе, — он привел с собой высокого застенчивого юношу в зеленом костюме по имени Доменико, который неумело щелкнул каблукми. «Ну как, хорошая была шипучка, а?» — лукаво

спросил Винсентэ, намекая на красное лицо Тулио, и подставил ухо, чуть подавшись вперед. «Еще бл...» весело ответил Тулио. — Всем напиткам напиток, ничего нет лучше...» — и, поведя глазами по столу, лицемерно добавил: — «Кроме вишневой наливки, понятно...» «Ох, Тулио, Тулио, проказник!» — пожурила его тетушка Ариадна, любовно стукнув по плечу розовым веером.

Вслед за этим откуда ни возьмись появился Эдмондо. Обведя всех тягуче-тоскливым взором, преподнес Кончетине тщательно обернутый голубой бумагой подарок — чашку с блюдцем. «Не стоило беспокоиться, Эдмондо, откуда вы узнали, что у нас нынче собираются...»

Торжественно выпили за именинницу, изошряясь в красноречии, — каких только благ не пожелали ей, и лишь беззубый человек да пришлый, Доменико, ограничились скупым: «За вас». Выпили и за неподвластную времени тетушку Ариадну, рожденную, по словам Дулио, под знаком вечной юности. Потом возгласили тост за Краса-город с его плющеобвитыми, островерхими, розово-голубыми домами, бассейно-фонтанный, с его достойными, безупречными обитателями, тост за «дулиоановский», всеми обожаемый, как выяснилось, город. Гости уже порядком захмелели, когда слово взял Дулио и, подняв рюмку с мятной наливкой, предложил тост за каждого жителя Краса-города в отдельности, начиная с пребывающего в другом городе маршала Бетанкура, и пожелал всем краса-горожанам от мала до велика, даже Александро, — подчеркнул Дулио, — всяческих благ и здоровья. Упоминание Александро страшно развеселило общество, и Дулио, весьма довольный собой, все стоял, подняв рюмочку.

— Кто такой Александро? — спросил Доменико у Тулио.

— Не знаешь? О, наш безумец, чокнутый поучитель, у нас в городе всего двое тронуты умом — он да Уго, — объяснил Тулио. — А ты понравился Терезе... Не теряйся, такую нельзя упускать, понравился ты ей, как пить дать, понравился. — Тулио встал. — Позвольте тост в честь...

Потом играли в фанты.

Каждый бросил свой фант, а попросту — какую-нибудь вещь, в блестящий котелок Дулио. Цилио, подойдя к Розине сзади и уловив ее взгляд, шепнул ей: «Почему ты дуешься, малышка?» и, ожидая объяснения, настороженно огляделся — в упор на него смотрел Эдмондо! Цилио отпрянул, уничтожая его взглядом, а тот медленно кивнул в знак примирения... Первое, что представил Цилио, была физиономия Эдмондо, заляпанная яблочным пирогом, но... Но нет, не затевать же было драку в доме благородных потомков знатного рода Карраско... Но как же не влечь... Как же быть... В бешенстве отвернулся, не сдержался бы иначе.

Тем временем Тулио уткнулся головой в колени тетушки Ариадны, расположившейся в кресле. Тетушка Ариадна пристроила котелок на макушке Тулио и, достав первый фант, торжественно спросила:

— Что делать владельцу этой вещички?

— Пусть прочтет стихотворение, — распорядился Тулио.

Одна из резвых девиц прочла стишок, в котором мелькали слова «дремотно», «слезы», «обжигают», «любовь», «терзают» и который завершался признанием: «Тобой навсегда пленено мое сердце».

Стишок заслужил аплодисменты, а тетушка Ариадна поманила пальцем вострушку и, потрепав по щеке, сказала сеньору Джулио:

— Славная девочка, — и игриво продолжала: — Ну-ка, Тулио, что прикажешь владельцу этого фанта?

— Выпить пять стаканов воды, — решил Тулио и услышал взрыв смеха — фант был его. «О-о, о-о! — развеселился Винсентэ и бегом поднес Тулио кувшин воды. — Изволь, молодой человек.

Принимаясь за четвертый стакан, Тулио глубоко-мысленно изрек: «Язык мой — враг мой» и, отдуваясь, попросил уважаемое общество милостиво позволить ему выпить пятый стакан чуть позже.

Обладателю следующего фанта предлагалось — зол был Тулио — забраться на стол и трижды выкрикнуть: «Осел я и ослом реву я!»

Почтенный Джулио поджал губы.

— О, нет, нет! — сконфуженно замотал руками вольный Тулио, вероломно улыбаясь. — Нет, нет, не пристало вам это. Ах, нет, пока я жив... не допущу...

— Игра есть игра, — с достоинством мученика вымолвил сеньор Джулио. — Связался с вами, молодыми, придется расплачиваться, — он явно был оскорблен.

— Тогда хватит один раз, дядя Джулио, — великодушно пощадил его Тулио. — Какая нужда три раза!..

— Что ж, хорошо, — согласился Джулио, с опаской забираясь на стул. — Один раз говорю: «Осляк я, осляком реву я!»

В неловком молчании донеслось издалека:

«Один-надцать часов вечера, и в городе все в порядке-е».

— Давайте продолжим! — бодро воскликнула тетушка Ариадна. — Что делать владельцу... Не подглядывай, шалопай...

— Ее владелец пусть лезет под стол.

Обладатель драхмы, юноша в зеленом, потерянно озираясь, опустился на колени, пригнулся и ко всеобщему удовольствию высунул голову из-под стола с другой стороны — «О-о-о!»

— А обладателю этой вещички? — с хитрецей спросила тетушка Ариадна. — Не подглядывай, говорю, сейчас же закрой глаза!

— Обладателю этого фанта...

— Ах, постой, погоди, это же фант уважаемого Дулио, ваш ведь, скажите, ваш?

— Допустим, допустим, — просиял Дулио.


— В таком случае, — тетушка Ариадна стремительно встала, чуть не повалив Тулио на пол, — уважаемый Дулио поведает нам какую-нибудь историю.

— Непременно, непременно, — поддержали резвые девицы.

— Да, но... как же так, — стал ломаться Дулио. — Так вдруг... без фанта...

— Зачем вам фант, вы знаете столько чудесных, необыкновенных историй...

— Расскажите, расскажите, Дулио, — важно сказал сеньор Джулио, — вы отменный рассказчик.



И Дуилио, такой, какой был, раз-другой пройдясь по комнате, направил вдохновенный взор в окно и так начал в тишине:

— Правдивая история. Сколько всего заключается иногда в каждой фразе — добро, зло, невинность — в каждую фразу следует вдуматься, сколько всего скрывается за простыми словами. Взять, к примеру, фразу: «Не запеть вороне канарейкой» — в ней любое слово простое, но на много указующее, к любому человеку применимое, впрочем, я ушел в сторону от главной истории... Итак, определенное время тому назад, весной, когда деревья украшаются белым и розовым цветом, юная особа и некий молодой человек без меры полюбили друг друга. Они сдружились и все свое время проводили на берегу реки, там на сочной зеленой травке, среди прозрачных воркующих вод он клялся ей в любви... и у нее рдели ланиты от его слов, потом они возвращались, расходились по домам, если можно так выразиться, и с волнением ожидали рассвета, а утром умывались и снова встречались. Извините за выражение, но я должен сказать — молодой человек снова изъяснялся ей в своих чувствах, а девушка внимала, затем они вступили в брак, оба они были хорошими людьми.

— Восхитительно, восхитительно! — выразила свой восторг тетушка Ариадна. — Дальше, дальше?

— И именно эта особа чрезвычайно любила своего законного супруга. В приятности и сладости минуло какое-то время. Супруг был хорошим, и женщина весьма гордилась этим обстоятельством, но внезапно заметила постепенно, что муж любит другую. В присутствии супруга она ничего не выказывала, но наедине с собой изливала горячие слезы, а перед домом у них в саду журчал прохладный фонтан, они очень хорошо жили; между прочим, в их прекрасном саду росло семнадцать гранатовых деревьев и тридцать одно — миндальное. И женщина...

— Сколько и сколько?..

— Семнадцать и тридцать одно.

— Ах, какие чудесные числа, — тетушка Ариадна была в восторге. — Дальше, дальше, продолжайте...

— Но женщина видела, что и муж страдает, ведь и он был порядочным человеком, и совесть мучи-

ла его. Задумалась добрая женщина: «Мы оба страдаем... Зачем обоим мучиться, пусть страдает один из нас...» И знаете, что она предприняла?

— Не знаю, нет, расскажите поскорее, Дуилино, не тяните...

— Я не зря начал историю с того, что женщина безмерно любила своего законного супруга, и вот что она совершила: явилась к мужу и сказала, нарочно, разумеется — не люблю тебя больше, не могу с тобой жить, люблю другого. И покинула его. Ушла в другой город. Представляете?

— Это героизм, — сказала тетушка Ариадна, осушая слезы розовым платочком. — Лишь женщина способна совершить подобное.

— Это человечность, — уточнил Дуилино. — Истинная, сложная и все-таки простая человечность.

— Замечательно, прекрасно! — тетушка Ариадна восторженно оглядела гостей и при виде беззубого человека, того, что иногда улыбался приглушенно, оскорбленно сказала: — Неужели не понравилась история, у вас такая скука на лице?

Человек смутился, потупился.

— Не понравилась?! — поразилась тетушка Ариадна.

— Как-то не слушал...

— Гм... — она желчно хмыкнула, вздернула брови. — Невероятно, невероятно, не так уж часто доводится слышать подобного рода исключительно возвышенные истории, — и расплылась в улыбке: — Благодарю вас, уважаемый Дуилино, благодарю...

— Не стоит, не стоит...

— А теперь продолжим? Поди сюда, хитрец, опусти голову мне на колени... Что делать обладателю этого фанга?

— Поцеловать Эдмондо!

— Не поцелую!!! — завопил Цилио, конечно же, оказавшийся владельцем фанга.

— Что с тобой, Цилио?

— Ни за что! Отстаньте! Где моя шляпа!

И тут тетушка Ариадна возвела очи к потолку и молвила:

— Васко был настоящим мужчиной!

— Не поцелую, нет! — Цилио дергался, отмахивался руками. — Жизнь мне отравил, извел!

— Что с ним...

— Воды, воды!

Эдмондо стоял в раздумье.

— Все мятная настойка виновата, — заключил сеньор Джулио. — Молод, хватил лишнего.

А Эдмондо, уперев взгляд в яблочный пирог, произнес:

— Даю слово, впредь слова ему не скажу.

— Правда, Эдмондо? — Цилио шагнул к нему.

— Да, — Эдмондо отлепил наконец взгляд с липкой поверхности пирога. — Честное слово.

— Неужели?! Дай расцелую! — и Цилио, сам не свой от радости, схватил Эдмондо в объятия, поцеловал и обернулся к обществу: — Нате, нате, довольны?

— Да, да, молодчина Цилио...

Винсентэ — ворот у него был расстегнут — заложил в рот два пальца и дико свистнул от избытка чувств. Все зажали руками уши. В Краса-городе свистеть вообще считалось неприличным, и сконфуженный Винсентэ застегнул пуговку, мгновенно изменился и, потупившись, тихо извинился:

— Виноват, прошу прощения.


Невероятно, как быстро он менялся — одним человеком представлял с застегнутым воротом и совершенно другим — с расстегнутым...

— Васко был настоящим мужчиной, — задумчиво повторила тетушка Ариадна. — Как в прямом, так и в переносном смысле слова... Иди сюда, Тулио, иди — что делать владельцу этого фанта?

— ...Это-го фан-та... э-то-го фан-та-а... — Тулио соображал: — Пусть спляшет на столе!

— Прекрасно, прекрасно. Кончетина, убери со стола... Кончетина... Где она, куда она делась?..

Доменико изумленно взирал на всех. Голова налилась тяжестью и, если он не напрягал зрения, все двоилось. Долго крепился, но в конце концов устал противиться и задремал. Дремоту с него стряхнули шумные возгласы, он приподнял голову и увидел — молодой человек с напояженными волосами целовал кого-то, да, — Эдмондо, так его звали. Учтивый молодой человек расстегнул ворот и разом переменялся,



кто-то звал «Кончетина, Кончетина», и откуда-то при-
вели тоненькую девушку с заплаканным лицом, се-
ступили, расспрашивали, а она твердила: «Нет, нет,
ничего...», потом на стол вскочил большеголовый, лу-
поглазый, кто же это был... да, Антонио, и от его не-
уклюжих подскоков содрогалась и звякала перестав-
ленная на пол посуда. Винсентэ застегнул ворот и
строго приказал Антонио сойти со стола, тот бессмы-
сленно паялился на зятя, совсем окосел...

А потом случилось чудо — беззубый человек, тот,
что улыбался приглушенной улыбкой, приставил к гру-
ди круглый инструмент с длинной шейкой, откинул го-
лову назад, опустил веки и осторожно провел пальцем
по струнам. Воздух всколыхнулся, что-то незримое
нежно коснулось всего, и Доменико в дремотном дур-
мане ничего уже не воспринимал, кроме неведомых
звуков, а когда мужчины обвили женщины руками за
талию и закружили их по комнате, он оторопело уста-
вился на них, пораженный, — как можно вот так, от-
крыто, у всех на виду обнимать женщину, а тот, беззу-
бый, прижавший к груди инструмент, ничего, веро-
ятно, не видел, потому что голова его все так же бы-
ла откинута, а глаза так крепко, так плотно сомкну-
ты, и лицо его исказилось сладостной мукой, увлечен-
ный звуками, он забыл обо всем, и даже губы раскры-
лись, приоткрыв красноватые десны.

У его инструмента душой была птица — то носи-
лась по комнате, грозная, то, взмахнув широченным
крылом, величаво парила, озирая всех гордо, то, на-
хохлившись зябко, тоскливо и жалко, ютилась в углу,
как воробышек малый, и вдруг превращалась в ту
птицу, что летает так странно, не так, как другие, —
в ворону, в плавно-неспешном полете глядящую дерзко,
нагло, а потом ошалело кидалась на стены, головую,
как ласточка, билась о стекла — на волю, на волю!
— но тщетно, и только когда обращалась в птицу из
птиц — в журавля, натянувшись стрелой, рассекала
со свистом пространство.... О, диковинной птицей бы-
ла, то ступала кичливо, блистая сизо-синим, роскош-
ным хвостом, распутив его царственно, а то лебедем
белым плыла, невесомо, изогнув над водой грациозную
тонкую шею, и клевала, пугливая, чуткая, и вдруг на-
чинала вертеться в ногах и, ластясь коварно, пред-

ставлялась покорной и верной, но внезапно взмывала — вероломная, хитрая! — устремлялась к простору и свету, и неистово билась и билась о стекла, трепыхалась, не видя в отчаянии, что распахнуто рядом окно, и снова металась по комнате — глупая, глупая! И когда иссякавшие звуки натывались бессильно на вещи и по комнате шарили, словно слепцы, и даже в тиши мимолетной — она реяла в трепетном воздухе, далеко в вышине, пока снова взмахнула б крылом, и нежданно — стремительно падала вниз, налетала на лица — дерзкая, дерзкая! — и нещадно шипала крючковатым, изогнутым клювом искаженное сладостной мукой лицо человека, сомкнувшего веки, — дикая, дикая!..

Доменико шел по улице, там и сям мерцали редкие фонари. Дом Артуро находился где-то в стороне, лицо пылало, он брел неуверенно, продрог. Заметил вдали освещенный дом, похожий на артуровский... Пошел туда, но дорогу ему преградил другой дом, он осторожно обошел его и тот, освещенный, оказался уже близко.

И сразу успокоился.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Нестерпимо болела голова. Во рту пересохло. Смутно ощущалось приснившееся, сон расплывался в сознании, и никак не удавалось прояснить его. Отыскать бы конец, ухватить бы за нить, сразу размотал бы спутанный клубок.

Машинально оделся. Новый костюм радовал, правда, пуговицы не слушались. Зеленый костюм, зеленый. «Ему синее больше к лицу» — так сказала она, подбоченясь... Терезой ее звать... Как она ступала!.. «Хочешь, поцелую? Только в щеку...» Так прямо и спросила... Почему не подставил щеку? Нет, нет, неудобно... хотя — почему? Ей должно быть неудобно. Нет, все равно стыдно, неловко...

Сошел вниз, в комнату хозяев, старался держаться красиво.



— Здравствуйте, — сказала жена Артуро и, чуть приподняв подол длинного халата, изящно присела.

И он сразу вспомнил, энергично щелкнул каблучками: «Здравствуйте, сударыня...»

— Как спали, выглядите прекрасно...

— Э-э... — Доменико смешался. — А-а...

— Надо сказать: «Благодарю, хорошо», — подошел на помощь Артуро.

— Спасибо, хорошо.

— Не обижаешься, что учу здешним манерам и правилам, мой...

— Нет, что вы. Можно, я буду спрашивать вас...

— Конечно, почему же нет, мой...

— Доменико... — И радостно вспомнилось: «Хочешь, поцелую? Но только в щеку...»

— Прекрасное имя.

Какая была женщина!..

После завтрака вышел на улицу. Боль в голове поутихла. В кармане было восемь драхм — их надолго хватит. «Шесть тысяч, шесть тысяч...» — подумал он ликуя и пустился по тропинке, к роще. Издали отыскал поваленный ствол и отвел глаза — не проследил бы кто. Вокруг, правда, ни души, но все же... Отошел от пня, побродил, поглядывая на заветное место и упиваясь счастьем. — «Синее ему больше подошло бы...» Нет... — и вспыхнул. — «Нет, нет, сразу догадается». И все же поддался искушению, вернулся к Артуро, покрутился у калитки: «Догадается, высмеет...» И против воли пнул калитку, шумно распахнул дверь и протянул две драхмы услужливо взиравшему на него Артуро.

— Если можно, приобретите мне синий костюм.

— Такой же... или самый дорогой?

— Такой же.

— Зачем тебе такой же, давай перекрашу этот...

— Нет, мне сейчас нужен... Прямо сейчас...

Он шел рядом с Тулио, в том же зеленом костюме. Переоделся в синий, прошелся по комнате — но передумал и снова облачился в зеленый. Он шел по улицам Краса-города, сильно волнуясь, а Тулио, беспечно

приветствуя встречных, вел его туда же, где сидели вчера.

Расставив ноги, женщина крутила над головой голубую скатерть.

— Спятила, Тереза! Что с тобой... — удивился Тулио.

— Хочу побыстрее высушить... О, и его привел?

— Да. Все еще нравится?

— Нет, прошло.

— Врешь...

— Да, вру. Увидела вот и опять пленилась... Как поживаешь, Доменико...

— Я хорошо... Благодарю, хорошо...

— Сегодня научился?

— Чему?

— Так отвечать.

— Да.

— Дурачок мой, — обласкала его женщина, — глупыш.

Как сладостно прозвучало, лучше всякого «милый» или «дорогой». Присев на край стула, она с улыбкой рассматривала его лоб, тонкий нос, очертила взглядом губы, глаза ее озорно сверкнули, и Доменико смущенно запыхал, предчувствуя страшное.

— А я тебе нравлюсь?

— Мне...

— Да, тебе...

— Не знаю... — и потупился.

— Нравлюсь! — заликовала женщина и, гордо вскинув голову, накинула голубую скатерть на себя, словно шаль. Пригладила бровь и заулыбалась, тая озорной, беззаботный смех за красивыми крупными зубами: — А так вот — больше нравлюсь?

— Да... — кивнул Доменико.

— А вот так... — она распростерла руки. — Вот так? — и обернулась скатертью, коротким жестом распустила, раскидала густые тяжелые волосы и распрямила грудь, нацелив на него, словно глаза, два острых восхитительных бугорка: — А так?

Не мог больше вынести, хотел вскочить, сбежать, но и на это недостало сил. Поднял на Терезу молящий взгляд, и женщина смешалась.



— Хорошо, хорошо, молчу... Прости.

Ее зеленые глаза в косых прорезах померкли на миг и вновь замерцали — она украдкой глянула на Доменико. — Что подать, Тулио...

— Две шипучки.

— Я сегодня не буду пить, — Доменико потупился.

— Почему?

— Голова болит и...

— Голова болит? — обеспокоилась женщина. —

Очень болит?

— Нет, не очень...

— Дать тебе лекарство?

— Нет.

— Я тебе неприятна, Доменико?

— Нет, что вы...

— Хватит, Тереза, не своди его с ума...

— Да, в самом деле хватит, — вздохнула Тереза, — а то примет меня за... скверную женщину. Одну шипучку. Что еще?

— Ничего. Ему — кружку пенистого, может, пройдет голова, сделай ему доброе дело. Слушай, Тереза, не подумай, что завидую, просто любопытно — ну чем он тебя пленил?

— Чем? — Женщина покосилась на Доменико. — А тем, что... тем, что... Сейчас вернусь.

И так внезапно охладела, так равнодушно отошла, что у Доменико упало сердце.

Но она стремительно обернулась и ласково мигнула ему обоими глазами, и Доменико тоже шепнул Тулио, не поднимая головы:

— Сейчас вернусь.

Куда деться, не знал, но и оставаться там, рядом с этой женщиной, не было сил. Где-то рядом журчала вода, он пошел на плеск и очутился у бассейна с фонтаном. О, только этого придурка Уго не доставало ему сейчас...

Мальчик грозился убить кого-то, но при виде Доменико испуганно съезжился, бросил «нож» — маленькую палочку и, втянув голову в плечи, поспешил прочь. Дойдя до угла, оглянулся на миг и поспешил скрыться.

Настроение у Доменико испортилось. В глазах мальчика так неприятно изогнулись вялые серые реснички... Повернул назад и столкнулся с Тулио.

— Пошли с нами, за город отправляемся,—и самодовольно добавил: — Я расплатился по счету. Отцу Терезы плохо стало, и она убрала там все.

— А еще кто идет?

— Кое-кого ты знаешь, на именинах Кончетины видел.

— И мне... с вами?

— Конечно! Ты — чужак, и... как это говорится, да, представляешь интерес.

— Правда?.. В самом деле пойти?

— Ха! Что значит в самом деле — сам Дулио идет ради молодежи! — И раздумчиво добавил: — Не считай Терезу вертихвосткой, все мы подъезжали к ней, так и этак обхаживали, только ни черта не добились.

У Доменико перехватило дыхание.

— Ты заметил шрам на лбу у Цилио — это она его.

— Так сильно?

— Стакан в него запустила. И знаешь за что? Подмигнул ей.

— За это? Она такая?

— У-у, не подступись! Страшная...

— Где-то родник поблизости, господа, — сказал Винсентэ, ворот у него был застегнут... — Вас ждет на редкость вкусная, приятная вода.

— Чудесно, чудесно, — залилась смехом Сильвия. — Ничего нет лучше воды!

— Когда испытываешь жажду, — уточнил Дулио, такой, какой был.

Начиналась пора желтолистья. Было солнечно, в лесу парили листья, нехотя опускались на землю — снежило в лесу, падали крупные желтые хлопья. На верхушках деревьев радостно гомонили птицы, щебет всплесками растекался в прозрачной синеве, но какая-то птичка грустно призывала другую, и зловеще, враждебно молчало черное обомшелое дупло.

— Во-от и родник, — указал Винсентэ. — Добрая душа и стакан оставила возле.



— Прекрасно, прекрасно! — воскликнула одна из двух резвых девиц. — Так пить хочется...

— Сначала пейте вы, после всех выпью я, — великодушно сказал Эдмондо.

— Вот он — истинный товарищ! — похвалил его Тулио. — Не пойму, что ты нашел в Цилио!

Эдмондо самодовольно опустил глаза долу, а когда отлепил наконец взгляд от желтого листа, обратился к Тулио:

— Если хочешь, будем дружить — ты и я.

— Нет, нет, я недостойн тебя! — заскромничал Тулио. — Ты создан для Цилио.

— Ты мне больше нравишься.

— Как я могу нравиться — от меня вечно шишучкой разит.

— Исправлю тебя. Перевоспитаю — я.

— Благодарю! Ладно, отвяжись, — Тулио надоело дурачиться. — Скажите-ка — нравлюсь ему... чего доброго, в любви тут объяснится.

Освежившись родниковой водой, шаловливые девицы разом посерьезнели и деловито принялись выкладывать снедь из красивых пестрых сумок, разостлали на полянке нарядную скатерть, разложили отварное мясо, жареных цыплят, пирожки, сыр, зелень...

Дулио поднял свою рюмочку с мятной наливкой и торжественно выпил за далекого маршала Бетанкура, «чьи думы и чаяния всегда витают над жителями нашего покинутого им города». И в этот благоговейный миг дико взлаял, вцепившись ногтями в ногу одной из резвухек, неизвестный молодой человек по имени Кумео, нахально приставший к благородной компании. Ошалевшей девице побрызгали в лицо водой, кое-как привели ее в чувство, а Дулио просиял, явно занятый совсем другим, так как изрек: «Не уноси стакан с родника!»

— О, великолепно! — откликнулась Сильвия. — Настоящий однострочный стих.

— К тому же — благородный по содержанию, — уточнила Кончетина.

— Благодарю, Кончетина, благодарю, крошка, — Дулио был растроган. — Ты прекрасно постигла смысл моего стихотворения. Добрая душа оставила у

родника стакан на благо другим, и мы, мы тоже хорошие, добрые, не будем разбивать стакан, а тем более — присваивать, но скажем: «Не уноси стакан родника!»

— Дядя Дуилио, расскажите нам что-либо, а...
А Дуилио, такой, какой был, предложил:

— Не лучше ли задавать вопросы?—И все хором согласились: «Да, лучше».

Дуилио с глубокомысленным видом расхаживал между двумя деревьями, шурша сухой листвой, и все, кроме Кумео, с нетерпением ждали вопросов. И Дуилио начал, обращаясь к развалившемуся на боку молодому человеку:

— Вот вы, к примеру, Антонио,—любите ли вы вашу работу? Доставляет ли она вам удовольствие? Если нет — отчего?

— Очень даже люблю свою работу, — сообщил Антонио. — Брошу в котел белую рубашку, покипячу, покипячу и вытащу красную. В другой котел брошу желтую — покипячу, покипячу — выну голубую, брошу в....

— Почему ты плачешь? — тихо спросила Сильвия Кончетину.

— Не проговоришься?

— Нет.

— По-моему, Винсентэ в меня влюбился, а он женат, и мне жалко его жену.

— С чего ты взяла, что он влюбился?..

— Пирог мне предложил.

— А вчера почему плакала?

— И Антонио в меня влюблен.

— Почему ты так решила?

— Не умеет танцевать, а все же станцевал на столе ради меня.

— Отлично, отлично, любая работа прекрасна, — сказал Дуилио, такой, какой был. — А чем радуется твоя работа?

— Кормит и нетрудная — сил мало тратишь, — сказал Антонио. — Бросишь, вытащишь, бросишь, вытащишь — само все красится.

— А-а-а, — протянул Дуилио размышляя. — Если любишь работу, добиваешься отличных успехов, а

это — хорошо. А ты, Винсентэ, каковы твои мечты, помыслы и намерения на будущее?

— Я желаю, — Винсентэ гордо поднял голову, — всегда представлять богатую и при этом культурную интеллигенцию.

— Похвально; похвально. А деньги ты употребишь, разумеется, на благородные дела?

— Да, да, естественно, несомненно, — сказал Винсентэ и, расстегнув ворот, добавил: — Здорово, верно, а чего... нет, что ли...

— А вы, вы, молодой человек; — Дуилио принялся за Эдмондо, — какие общечеловеческие идеалы пленяют вас больше всего?

— Больше всего пленяет идея товарищества—меня.

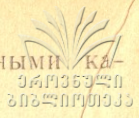
— Замечательно, замечательно, — энергично, торжественно согласился Дуилио. — Товарищество, как правило, порождает атмосферу взаимной любви и серьезной ответственности. У меня был товарищ, бывший к тому же деятелем искусства, и наша взаимодружба обогатилась новым творческим опытом. Наше товарищество могучей поступью шло к выдающимся успехам. Истинное товарищество широко прославит себя и озарится светом дружества. И вообще дружество, дружба между людьми имеет следствием положительные результаты.

— А я не люблю его, — зашептала Кончетина Сильвини.

— А теперь скажите вы, нет, не вы, а вы, — Дуилио ткнул пальцем в прятавшегося от него Кумео. — Что вы считаете наиболее ценным в природе ваших ровесников: физическую силу, умственные данные, являющиеся предпосылкой замечательных успехов — уф, жарко стало, или подлинную человечность, то есть прямоту, которая искусно ваяет и оттачивает мысль.

— Я, да? — приставил палец к груди Кумео и сразу преобразился, загордился. — Считаю, что человек должен быть умным, разумным, прямым, а если и сильным окажется да с деньгами в кармане, — так чего лучше!

— Ага-а, — Дуилио еще больше приосанился, напыжился.—Следовательно, вы полагаете, что человек



должен быть украшен многими положительными качествами.

— Да, должен быть украшен.

— Вы хотите сказать — должен быть украшен-оснащен?

— Вот именно.

— Прекрасно. Хороший человек всегда пленял нас, будет радовать и в грядущем.

— Мне вообще не встречался по-настоящему хороший человек, — шепнула Кончетина Сильвии.

— Не встречался?! А Дуилио...

— Он-то да, он-то да... Но он же пожилой, я о молодых говорю.

— А, ты о молодых... Вообще говоря, когда молодые станут пожилыми, возможно, и они станут хорошими.

— Это верно, это верно.

Меж тем стояла осень, лесная, пламенеющая.

Ночной страж, врун Леопольдино на цыпочках пробирался по улицам, беспокойно, сторожко озираясь, и при малейшем шорохе замирал и прятал под ветхой накидкой свой заржавелый фонарь. Ему надо было добраться до фонтана в центре города — сперва оттуда полагалось возвестить: «Три часа ночи, и в городе все в поря-я-ядке-е!» Эх, он прекрасно знал, что далеко не все в порядке, но что было делать, именно за это платили ему драхму в год — кругленькую золотую монету, которой надо было довольствоваться целый год, обратив ее в лук и хлеб. И выкрикнув «Три часа ночи, и в городе все в поря-я-ядке-е!», он трусил к своей халупе. Однако любил постоять под окном одного дома. Спрятав фонарь под балахоном, притаившись, он терпеливо ждал — из окна пробивался слабый свет, человек, не имевший передних зубов и улыбавшийся как-то затаенно, приглушенно, не спал. Ночное молчание нарушали легкие шорохи, словно кто-то на носках крался по сухому песку — человек бережно чистил бархаткой свой инструмент, у которого душой была птица. Потом он играл — тихо, нерешительно, боясь потревожить спящих соседей, и куда исчезали могучие вольные птицы! Ночью у него оставалась малая пташка, но какой бы кроткой и тихой она ни была, Лео-

польдино все равно, затаив дыхание, слушал, как испуганно стучало сердце пойманной птицы, как боялась она встрепенуть крылышками, ощущал, как тащ она прыгнуть с ветки на ветку, а главное — взмыть, полететь...

Человек, тосковавший по всяким птицам, с трудом владел собой, он играл, закрыв глаза, и звуки слепо шарили по вещам, колыша воздух, но подавляемое желание содрогало его, искажало лицо, и он не мог дожидаться зари, когда обратил бы воробышка в журавля, что, вытянув шею, стрелой устремится в облака, а пока была ночь, было темно, и припавший к стене Леопольдино чувствовал — человек стесняется играть вольно, не дозволено было это ночью даже бесподобному, дивному музыканту, зато ему самому, Леопольдино, полагалось проорать на весь город своим скрипуче-ржавым голосом: «...и в городе все в поряядке-е...»

...И АЛЕКСАНДРО

— Все это хорошо, а чем до вечера заняться? Хлебнуть нельзя, — сказал долговязый.

— Почему нельзя?

— Налижемся, а нас спектакль ждет, потеха!

— Извините, что за спектакль? — спросил у долговязого Доменико, дожидавшийся у фонтана Тулио.

— Не слыхал?! Весь город готовится, Александро выступает.

— О чем выступление?

— Объявил... Как же это, да: «За улучшение отношений между людьми».

— Ого! — осклабился его дружок. — Точно, нельзя напиваться.

Просторное помещение битком было набито.

— Сядем у выхода, — предложил Тулио. — Раз уж тебе так приспичило его послушать, пришел, а сам бы я ни...

— Почему?

— Его лекции дракой кончаются иногда... Если что, сразу уйдем.

Какой-то парень вскочил и хлопнул в ладоши, требуя внимания.

— Давайте не доводить его, и без нас дойдет, не
тешит.

— Правильно, верно! — одобрил зал.

— И дурацких вопросов не задавайте, а то учует,
что... Спрашивайте с умом, чтобы сбить его...

— Собьется он, как же...

Занавес внезапно раздвинулся и на сцену уверенно, решительно вышел сам Александр.

В зале захлопали, загалдели, засвистели. Александр ступил вперед, к рампе, выставил руку ладонью к публике, и все коварно притихли. Александр явно затруднялся начать, но, обведя взглядом зал, узнал всех и зычно сказал:

— Здравствуйте, люди!

— О, привет, Александр, привет, — весело откликнулся зал. — Как дела, хороши?! Как поживаешь? Как себя чувствуешь, дядя Александр... Чем порадуешь, о чем говорить будешь?

— Об улучшении взаимоотношений между людьми.

— Давай, давай! Валяй! Промой нам мозги по своему...

— Прошу тишины и внимания, — Александр снова выставил ладонь. Потом задумчиво прошелся по сцене и начал:

— Признаться, я долго размышлял, какую прочесть лекцию — отвлеченную или конкретную, говорить с вами высокопарно или просто, доступно... И решил — самое разумное поговорить с вами по-простому, по-свойски, как бы там ни было, мы отлично знаем друг друга!

— Давай, валяй! — подбодрил его какой-то пьяный.

— Отношения между людьми все улучшаются, — убежденно сказал Александр. — Наши далекие предки поедали, оказывается, друг друга — в прямом смысле слова, а ныне людоедство искоренено. А это — хорошо.

— Ура-а! — завопил Кумео.

— Человек должен совершенствоваться, но я спрашиваю вас — что приведет нас к совершенству?

— Истина! — выкрикнул кто-то, давась от смеха.



— Точнее! — потребовал Александро.
— Лестница! — сострил еще кто-то.
— Первая буква совпадает! — обрадовался Алек-
сандро.

— Ласка.
— Еще точнеей.
— Отвага!
— Причем тут отвага, где «л»!
— Что же тогда, Александро, что?
— А вот что... — и по телу Александро разлилось что-то мягкое, нежное, он как-то обмяк, уронил плечи, поднял глаза к потолку и, медленно-медленно воздев руку, молвил: — Любовь...

Взорвался зал, распотешился.

— Ого, да он влюблен! Влюбился в нас!

А пьяный парень сорвался с места и, крутя палец у лба, завопил, паясничая: — Ах, что творит с человеком любовь! Что делает с человеком любовь! Что делает с нами любовь!

— Нет, молодой человек, я толкую не о той любви, какую ты полагаешь, — во взгляде Александро появилась жалость. — О более значительной, о благородной и возвышенной.

— Много ты в ней понимаешь, в любви! — взвился вдруг степенный мужчина. — Ни жены, ни детей не имеешь!

— То-то ты понимаешь, раз и жену и детей имеешь! Оттого-то к Розалине таскаешься.

Мужчина оторопел, побагровел, побледнел и, не сумев спрятаться, провалиться сквозь стул, вскочил и заорал на Александро: — Идиот, кретин, недоумок! Что с тобой говорить!..

— Вот она — ненависть, — обратился Александро к публике. — Разве это хорошо?

— Убью... Убью этого... — мужчина запнулся, не подобрав слова. — Этого болвана, ишака!

— Кем бы я ни был, — Александро погрустнел, — хоть болван, хоть наоборот, — все равно люблю вас... Гляжу на вас, и сердце разрывается — так удручает, так травит мне душу любая ваша недостойная выходка, и все же — люблю вас, эх, знали бы вы, какое это хорошее, какое замечательное чувство, если бы только знали... Некогда и я, подобно вам, любил лишь

своих близких, но потом неожиданно в душе моей распустился необыкновенный цветок, появился розочкой любви, ну, догадались какой?

— Мак!

— Нет, скоро увядает.

— Подснежник!

— Слишком хрупкий.

— Георгин!

— Не в меру пышный.

— Роза!!!

— Банально.

— Что же тогда, что?!

— И неожиданно в душе моей распустился необыкновенный цветок — цветок кактуса, в моей душе вырос кактус любви, колючий, с колкими шипами, но как сладостен был каждый его укол. Вот и сейчас, гляжу на вас и колет, колет...

— Брось, не обращай внимания, Александро!

— Как не обращать — колет же! И если бы знали, как я люблю вас, ка-ак — не представляете... — И разом преобразился: — Только не воображайте, что правитесь мне! Ах нет, нет, отлично знаю, что вы собой представляете, и все же... Люди, взгляните-ка вон на них — они вместе пришли сюда: Винсентэ и Антонио. Что таить, раньше они терпеть не могли друг друга. Винсентэ не сомневался в своем превосходстве над Антонио, а Антонио не выносил Винсентэ из-за его спеси... Но в жизни всякое случается, — умиление отразилось на лице Александро. — А как породнились, сами видите, стали неразлучны, мы очевидцы их дружбы — и пьянствуют вместе, и гуляют, и в карты режутся — нет, нет, не на копейки... И я спрашиваю вас, если б Винсентэ не избрал себе постоянной спутницей жизни прекрасную Джулию, разве и по сей день не были бы они как злая кошка со злой собакой? Верно ведь, Винсентэ!

— Врежу тебе по зубам...

— Успокойся, Винсентэ, успокойся, знаешь же — тронутый он...

— Очень кстати напомнил о зубах, — люди, не ешьте друг друга! Не кусайтесь, не грызитесь, будьте между собой, как голубок с голубкой... Не ссорьтесь, не надо. Некий мудрец сказал: когда двое ссорятся —

виноваты оба. Это истина, дорогие, и вам следует прощать иной раз друг друга. А вы сразу — кулаки в драку лезете, разве это хорошо? Дайте слово, что будете великодушно прощать друг друга, обещаете мне, люди?

— Обещаем, обещаем, — зал надрывался со смеху.

— Ага-а, потешаетесь? — Александро задумчиво помолчал и вдруг указал в кого-то пальцем.

— Вот ты, Микел, и ты ведь обещаешь?

— А как же, — оскалился здоровенный тип.

— Поклянись.

— Душой и телом клянусь!

— Верю тебе и потому выдам одну маленькую тайну. Ты простишь виновного, верно?

— Да, а как же! — оживился Микел и наострил уши.

— Тогда подойди к Кумео и пожми ему руку.

— Зачем?

— Пожми, пожми.

Кумео посерел, со страхом уставился на верзилу, который, пожав ему руку, сел на место.

— Ну, говори.

— Коль скоро ты проявил великодушие, скажу, — торжественно начал Александро. — Два дня назад, когда ты пьяный отсыпался на улице, красавчик Кумео снял с тебя золотую цепочку.

— Ну да! — Микел странно улыбнулся и метнул взгляд в Кумео. — Если поцелую его, клятвы не нарушу?

— Наоборот, возвысишь себя, дорогой мой человек, подойди, поцелуй...

— Не надо, чего меня целовать! Не хочу! — запротестовал Кумео.

— Я должен облобызать тебя, должен... Как повашему, — Микел обратился к публике, — заслужил он поцелуй?

— Заслужил! Заслужил! — заорали самые нетерпеливые.

— Нет, нет! — завопил Винсентэ — Кумео приходился ему двоюродным братом.

— Нет, нет и нет! — поддержал его Антонио.

— Пусть целует! Пускай целует! — требовало большинство, а Микел нежно обхватил Кумео за го-

лову, изумив всех этим — неужто вправду пощелкает, потом же, когда все поверили было, ударил сра^{302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1}вой прямо в нос. Кумео растянулся между рядами, а Микел добавил еще два пинка и не пожалел бы третьего, но скорый на расправу Винсентэ перемахнул через чьи-то головы-плечи и прыгнул на Микела. Оба повалились на Кумео, там в тесноте волю дать рукам не удалось, и Винсентэ разодрал Микелу щеку.

— Клятва, Микел! Как же клятва! — негодовал Александро. — Где твоё слово!

А Джузеппе только и ждал свалки — налетел на дравшихся, схватил первого попавшего под руку — им оказался Винсентэ, и швырнул через четыре ряда...

Тут к Джузеппе пробился шупленький парнишка, ловко, но очень изящно двинул его в челюсть, Джузеппе рухнул без памяти. Это было равносильно чуду, но кому сейчас было до чуда, деверь Розалины умело воспользовался сумятицей и беспорядком: подкрался к почтенному сеньору Джулио сзади и стукнул кулаком по голове...

Женщины визжали, вопили, наиболее сообразительные ринулись к выходу, не растерялись и те, у кого имелся на кого-нибудь зуб, в кутерьме и давке каждый лупил своего недруга, и драка приняла всеобщий, массовый, грандиозный характер.

— Люди! — взывал со сцены Александро. — Неужели на вас так подействовала моя умиротворительная беседа?!

Но в зале всё смешалось, произошло нечто невероятное, каждый ругал всех остальных и бил кого только доставал, и даже, представьте себе, окровавленный Винсентэ с остервенением, со вкусом топтал Антонио.

— Что вы с ума посходили, люди! — пытался обр^{302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1}азумить публику Александро. — В конце концов вы же развлекаться пришли!

— Здесь, в вашем городе... — Доменико говорил смущенно, — пожалуйста, не поймите меня как-нибудь не так... мне просто любопытно... есть ли воровство?

— Здесь, в нашем городе? Нет, что ты, — удивился Тулио. — Бывает, конечно, но редко, очень редко.



— Почему же он сказал, что Кумео украл у ^{Милана} жела золотую цепочку?

— Типчик вроде Кумео на что угодно способен, — возмущенно заметил Тулио. — Он исключение. В каждом городе найдутся два-три негодяя... — А что, у тебя деньги есть?

— Нет, совсем немного.

— Сколько все же?

— Шестьдесят... драхм.

— Шестьдесят?! — Где ты взял столько...

— А это много?

— Ха! — махнул рукой Тулио. — Мало сказать — много... А сколько было всего?

— Всего... Всего... семьдесят.

— И ты уже спустил десять драхм? На что, Доменико?

— Два костюма купил.

— Это — драхма, а... а еще?

— Почему драхма, четыре драхмы.

— Кто содрал с тебя четыре, Артуро?

— Да.

— У-у, ядлюга, — и неожиданно заподозрил что-то — А Тереза знает, что у тебя столько денег?..

— Нет, не знает. Откуда ей знать?

— Честно?.. Не пойму, чем же тогда ты ее пленил... Вообще-то Тереза не падкая на деньги, но все же... Пойми меня правильно, с виду ты неплох, но все равно, так сразу понравиться ей?!

— Значит, нет воровства? — переспросил Доменико, смотря на Тулио в упор. — Нет, значит, да?

— Нет, конечно... Разве что облапошит кто-то, вроде Артуро, а из кармана не вытащат, не ограбят. Радуйся, что ты в Камору не попал — там бы давно прирезали.

— В Каморе? Что это за город...

— Ха, этого сразу не объяснишь... Но горло тебе точно бы перерезали.

— Почему... Из-за чего... Я никому ничего плохого не делал...

— Для каморовца это ничего не значит.




Не сразу погрузился Краса-город в сплошной беспросветный туман, сначала его обволокло сырой беле-сой пеленой. Дни стояли сумрачные, уныло, нудно, не-скончаемо моросило, по небу расползлись клочья туч, дороги размякли, раскисли, колеса экипажей прореза-ли глубокие колеи. Мокрые панели сначала поблески-вали, но липшая к башмакам слякоть скоро и туда до-бралась, все отсырело. Тетушка Ариадна, укутавшись потеплее, отсиживалась дома, продрогшие прохожие шли молча, с усилием выдирая ноги из липучего мес-ива. Город вымок, вымер, затих, даже извозчики не по-крикивали на лошадей, на взмокших деревьях взбухли ветки, чаще горланили заскучавшие петухи. «В такую погоду бражничать хорошо, — кутнем, а? — вдохно-венно сказал Тулио. — Пошли, чего думать, Доменико приглашает», — и компания двинулась на окраину, к заведению Артуро. Доменико был в высоких сапогах — на пядь выше колен, тонкий стан его стягивал широ-кий пояс с серебряной пряжкой; широкополая шляпа надвинута на глаза, на плечи накинут плащ из тя-желого синего бархата, а в кармане лежало двадцать пять драхм...

«Эй, Артуро, давай неси что есть хорошего, да поживей», — распорядился Тулио, изысканным жестом швыряя свой зеленый бархатный плащ на стул. Ар-туро пинками поднял на ноги двух своих работников, прикорнувших в углу, и все трое захлопотали... Свер-нули головы цыплятам, прирезали визжавшего поро-сенка, в самое сердце всадили нож привязанной к де-реву овце, слякотный двор запестрел накрапами крови, мутной краснотой запереливались лужицы. Артуро с веранды управлял работниками, отдавая указание за указанием и перебрасываясь ласковым словом с го-стями-гуляками, полукружьем рассевшимися у камина.

Посреди комнаты накрывался стол... Пока же Ар-туро подал компании кувшин вина... «До утра кутим, до утра, — восклицал, захмелев, Тулио. — Давайте споем, еще разок... Хорошо!..»

...Пили, пили всю ночь; крепко напились — у Ци-лио спутались напомаженные волосы, налезали на глаза, до пупа расстегнувший рубашку Винтентэ такие



изрыгал слова — уши вяли, Антонио три раза ^{посидел} за столом. У Доменико заплетались ноги и ^{важничая} с плеч набрякшая голова... Подступило утро... В ^{горле} пересохло, он с невероятным усилием разлепил веки и, будь в состоянии, подвинулся бы — вокруг него все свистело и завывало — кувшины, чаши, оyroкиннутые стулья... У каминна — Тулио со стаканом, пил он... Антонио держался еще молодым, Циллио старательно счищал с рубашки пятнышко, Винсентэ сопел на полу, повалившись на свой плащ, под которым постелил плащ Антонио; как видно, он и во сне вел себя непристойно — ворот был расстегнут, и выражение лица какое-то такое... Эдмондо оцепенел на стуле, прилипнув взглядом к Циллио, а Кумео, невзсть когда и откуда притащившийся, обгладывал в уголке куриные кости, — и все вокруг свистело и завывало...

В необоримом дурмане Доменико кое-как поднялся на ноги, и сразу оглушили радостные возгласы, все потянулось к нему, пожимали руку. «Ну-ка, налейте ему», — распорядился Тулио, а Доменико рвался помыть руки, смыть жир, оставленный пальцами Кумео...

Потом удивленно уставились на окна — стоял туман. Такого еще не видели. Краса-город затонул в глухом холодном тумане — непроглядный молочный туман поглотил все; бесшумно, на цыпочках выбрались на веранду и в необычном смутном свете не то что друг друга — себя не различали...

Все в том же дурмане Доменико спустился невидяще по невидимым ступеням. Во дворе постоял, вспоминая, где могла быть калитка, и, вытянув руку, двинулся дальше. Шел Доменико, брел он по городу, и чужому и чуждому, в плотном тумане, а мимо проплывали виденья, неясные тени, выставив руку, и так сомнительно и неожиданно разнеслось вдруг: «Десятый час уже, и в городе все в порядке...» И закутанный в бархатный плащ, так осторожно, с такой опаской ставил он ноги, тонкие, длинные, казалось литые, словно в озере белом пробирался по зыбкому дну...

Проплывали виденья навстречу и мимо, вытянув руку... Хорошо еще слышалось из какого-то дома — корабля затонувшего: трепыхалась и хлопала крыльями птица, душа инструмента, и он брел и брел, а куда — и не ведал и, приметив милую стройную тень, за-

мер, застыл, а она подступала, вытянув руку, медленно, тихо и при этом легко необычно и, приблизившись, стала, и стояли друг против друга, и чудились зеленые глаза, большие, в косых прорезах, устремленных к нежным концам бровей.

Она ступила еще шаг, один-единственный, и изящным движением прорвала тяжелый туман, опустила на плечо ему руку:

— Ты, Доменико?

Тереза была.

— Я... — сказал Доменико, — я...

— Откуда ты...

И призрачный туман сразу напитался ее низким приятным голосом, она приблизила к нему лицо, и Доменико действительно различил ее глаза, лучившиеся зеленым светом, а всмотревшись, вздрогнул — опечаленной была Тереза.

— Я у Артуро... У Артуро был.

— А я вот за лекарством ходила, — тихо молвила Тереза. — Отец болен.

Промолчал Доменико, да и что он мог сказать.

— Домой иду... Не проводишь? — спросила Тереза. — Иди впереди.

— Я же не знаю дороги.

— Покажу. Иди, я за тобой. — И, повернувшись, внезапно ощутил плечом ее руку — будто в нежных когтях очутился, и пылало плечо, ощущая всю длину ее нежных пальцев.

Выставив руку, шаг за шагом пробивался в тумане, на плече была ноша, такая, о, ноша... и правил им голос, низкий и нежный: «Сверни теперь вправо, немного еще и правее...»

— Вот и дошли, — тихо сказала женщина. — Ты куда теперь... Можешь зайти.

— Ждут меня там.

— Не найдешь дороги. Отвести тебя?

— Нет, что вы, не беспокойтесь.

— Хочешь, поцелую? В щеку...

— Да.

И Тереза потянулась к сомкнувшему веки, и щека ощутила ладонь, теплую, нежно-сухую, острые пальцы скользнули к виску, к волосам, а другую щеку обожгло



— приложили клеймо, горячее, мягкое, дивное, размыкая век, бездумно повернул неожиданно голову и крепко поцеловал ладонь, а она, потрепав по щеке, неощутимых дала две пощечины, сказала:

— Славный ты. А теперь ступай.

Сколько они пили, пьяному разгулу не виделось конца. Возбужденный, окрыленный Доменико осушал стакан за стаканом, без меры, безудержно веселился Тулио, без меры пили и Цилио, Винсентэ, Кумес и Дино, забредший к Артуро, пил и Эдмондо, отчаясь найти товарища, друга, пил неизвестный прохожий, с превеликой охотой за драхму приведший Доменико обратно... Пили из кубков и чаш, резных и простых, припадали к горлу кувшина... Под конец пили стоя, шатаясь, обливаясь вином, пили и пили, глуша, утоляя неутолимую жажду, и когда смиренно подошедший Артуро приниженно, жалко вобрав голову в плечи, нагло потребовал шесть драхм, Доменико тут же запустил руку в карман и дал ему гордо все, что выхватил... И, качнувшись, поспешил подставить под кувшин, из которого разливал Антонио, свою красивую, блестящую, емкую чашу...

Перевод Элисо ДЖАЛИАШВИЛИ

Продолжение следует



БЕРЕГА МЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА...



«Берега мы друг
для друга...»

Я верю в эти его высокие слова, я знаю, поэт не растратит зря тот свет, который несет сегодня в своей пригоршне, я уверен, что вскоре свет этот он будет нести всем сердцем своим, ведь сердце — самый прекрасный и надежный сосуд для Добра и Любви.

Уже известные грузинскому читателю стихи Вахтанга Харчилава вселяют в нас уверенность в том, что в Грузии слова «поэзия прежде всего» и впредь будут означать то, что значили они всегда — «Отчизна прежде всего!»

Вахтанг Харчилава служит этой высокой цели каждой своей строкой, каждым своим стихом. Это — кредо всего поколения, оно и стало заявкой на высокое служение своему долгу.

А сегодня со стихами Вахтанга Харчилава познакомится русский читатель. Он впервые услышит, как бьется сердце грузинского поэта.

Прислушайся, читатель, к нему как следует, этому сердцу можно довериться.

Морис ПОЦХИШВИЛИ

Приходит в литературу поколение, настойчиво ищущее своей судьбы. Хотя у подлинного творца судьба всегда одна — гореть и согревать других. А это участь не многих.

Вахтанг Харчилава — один из тех, кто отдает себя служению Отчизне целиком, без колебаний, считает это своим долгом.

Он колх, и в мыслях его мы видим то малое золотое зерно, которое зовется у нас душою истинного Человека.

Вахтанг ХАРЧИЛАВА

ОБЛАКА НАД АНАНУРИ

Под сводом ослепительной лазури
Сугробами нетронутых снегов
Торжественно плывут над Ананури:
Стада пушистых, легких облаков.

Они плывут, едва-едва касаясь
Нависших над Арагви хмурых скал...
Я до тебя, любимая, признаюсь,
Всей этой красоты не замечал!..

Они плывут куда-то снежным роем,
Закатным позолочены огнем...
И ты, моя любовь, цветешь зарею,
Становишься прекрасней с каждым днем!

И ясною весной, зимой ли хмурой
С тобою до рассвета я готов
Смотреть, как вдаль плывут над Ананури
Стада пушистых, легких облаков...

В КАФЕ

Собой счастливый занят без предела,
И о себе самом — его все мысли!..
В кафе сегодня женщина сидела
И рядом с нею собеседник лысый.

Была та женщина красивой и несмелой,
Светились тайной грустные глаза.
И украшений модных не имела,
Лишь на ресницах — бусинка-слеза.

Кто нам она? Жена чужая или
Невестка с неудачною судьбой?..
Мы веселились, дружно пели, пили,
И каждый занят был самим собой...

Бывает у одних душа холодной льдиной,
А у других — чутка, обнажена...
И плакал дождь за синею гардиной,
И плакала невестка иль жена...

Быть может, нам открыться захотела,
На нас взглянула женщина с мольбой!..
Но до других счастливому нет дела,
Счастливый занят только лишь собой!..

* * *

Мало кто знает,
Что ночь — тот же день,
Только утром пришедший,

Как в сказке,
В клочьях тумана,
Окутанный в сумрак,
Уставший...
Он — уже день
В своей солнечно-яркой окраске,
Но до грядущего утра
Опять будет ночью,
Угасший...
День тоже любит покой,
Чтоб о жизни подумать неспешно,
И на ветвях его мыслей
Раздумий плоды созревают...
И перед сном
Он припомнит мгновенья,
Ушедшие в вечность...
...Утром,
С зарею,
Он нам, как всегда,
Засияет!..

ФОН ДЛЯ АВТОПОРТРЕТА

Если б даже осенью деревья
Расцветали ярким синим цветом,
Кто заметил бы голубизну нагую
Тела твоего, о кедр мой?

Если бы среди других деревьев
Горделиво ты не возвышался,
То твоей красе и гордой стати
Кто б хвалу высокую вознес?

Если б я не видел на аллеях
Каждый вечер столько пар влюбленных,
Разве бы признался с тихой грустью,
В том, что одинок, о кедр мой?..

* * *

Вся жизнь моя поделена
На жар и холод,
Плоть и душу,
И песнь давным-давно больна
Меж сном и явью раздвоеньем,

Проклятем и благословеньем...
И стену эту — не разрушить!..
Два колокола — две руки
Ждут жертвоприношений жадно...
Теряю голову,
Увязнув на мели...
И две реки,
Как две больших змеи,
Сжимают шею,
Душат беспощадно!..

* * *

Нет, не понять тебя, гордыня из гордынь,
Чего мне стоила слезинка эта,
Упавшая сейчас в твою ладонь
В утеху неумного тщеславья!
Я за нее бы смог бы получить
Тепло и ласку, все, что не хватает
Моей, тобой измученной, душе...
Но никогда ты, видно, не узнаешь
О той опасной, шаткой переправе
Над пропастью бездонной, по которой
Я, затаив дыханье, проходил,
Чтобы слезинка эта не попала
В ладонь чужую женщины другой!..

* * *

Берега мы друг для друга.
И всегда плывет к нам кто-то
Из просторов необъятных
Океанов и морей,
Чтобы душу успокоить
На земной и прочной тверди,
Чтобы сердцем отогреться
Среди искренних друзей.

Маяки мы друг для друга.
Ежедневно, ежечасно
На огонь, зажженный нами,
Заблудившийся в пути
Вновь идет, благословляя
Чью-то дружескую руку,

Ту, что верную дорогу
Помогла ему найти.

Звезды все мы друг для друга.
Только светим днем и ночью
И уверены, что встреча
Состоится, наконец.
Да иначе быть не может:
Ведь друг друга мы находим
По взаимному влеченью
Наших дружеских сердец!

* * *

Хоть поздно,
Хоть и очень поздно,
Но все-таки
Я выбрался из чащи
И зашагал
Тропою проторенной,
Ведущей
Прямо к дому твоему...
Ведь жить с начала —
Никогда не поздно!
Иная жизнь,
Взорвавшись в часе звездном,
Воспетая
В одной-единой песне, —
Какая жизнь!
Какой пример другим!..
И полюбить...
Да, полюбить! —
Как заново родиться!
Воскреснуть!
Жить!
Подняться в небо птицей!
Взмыть к облакам!
Увидеть снова звезды! —
Хотя б за час
До смерти —
Никогда не поздно!

Перевод Юрия АНОХИНА

Рассказы

ЛЕКСО

ЛЕТНИЙ полдень, воскресенье. Даже земле жарко. Обычно в такой зной никто не выходит из дому. Разве что молодые ребята собираются у конторы, стоят «на бирже» в новых арабских джинсах и распахнутых на груди сорочках. Да и они недолго жарятся на солнцепеке; один вынесет из дому вино, другой — закуску, усядутся у родника, в тенечке, и ждут, пока жара спадет. А в этот день никто не думал пировать. Старшие готовились с самого утра. Кто собирал деньги — «туда», кто утюжил новое платье, кто брил недельную щетину — еще приедут из города... В этот день Лексо Затикашвили хоронил жену.

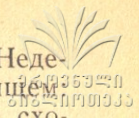
Посреди комнаты, у гроба, стоял коренастый, коротко стриженный седой мужчина лет пятидесяти. Глаза его покраснели, борода отросла. К костюму с левой стороны, у сердца, булавкой была приколата маленькая фотография совсем молодой женщины; широкая черная повязка то и дело сползала с левого рукава, и Лексо каждую минуту поправлял ее.

Жена была на пятнадцать лет моложе него, здоровая, крепкая, «не угомонить», — говорили соседи. Три дочери было у них, и супругам очень хотелось сына. И вот сын родился, да только жене Лексо он стоил жизни. Когда она поняла, что не жить ей больше на этом свете, велела позвать Лексо. Лексо, сгорбившись, вошел в комнату. Подожди, сказала она. Лексо подошел к постели и посмотрел жене в глаза. Она улыбнулась, дай, просит, руку. Лексо подал руку. Жена из послед-

них сил сжала его руку и говорит: смотри, Лексо, приглядывай за детьми, я-то помираю; сказала — чилась тут же.

Двадцать семь лет было Лексо, когда у себя в деревне обручился он с Маро Микелашвили, — вскоре и свадьбу сыграли. Наутро после свадьбы Лексо сидел на постели, курил, посматривал на спящую Маро и думал — для чего ей было меня обманывать? А когда она проснулась, сказал, не глядя в глаза: нашла тоже, кого обманывать, сказала б уж, ведь не убил бы; сказала бы сразу, совестью клянусь, все равно б женился... Чего ж обманывать-то? Маро в слезы: «Этот чертов учитель из города так, дескать, пристал — проходу не давал, я тоже влюбилась, ну и раз у ручья...» Она не договорила.

Год прожили они вместе. Думал Лексо — забудется обман, да только все не шел никак из головы учитель. Ребенка родить ей не дал, решил — жалко, мол. Позорить не стал и через год отправил ее к родителям. Когда его спрашивали — зачем жену-то отпустил? — Лексо, наклонив голову, отвечал: «Не сошлись характерами». Однажды он съездил в город, съездил — и с кем-то там «спутался», как говорили у них в деревне. Два раза в неделю мотался Лексо в город к своей «путалке». Как-то вечером он, запыхавшись, взбежал к ней по лестнице, приоткрыл дверь и видит: «путалка» сидит на коленях у какого-то мужчины, а на столе стоит полупустая бутылка вина. Лексо обмер. «Что стоишь, как истукан, уходи!» — сказала женщина. Лексо ничего не понял, ему захотелось влечь ей пощечину. Он резко приблизился, но бить не стал, повернулся и вышел. После этой истории он в сторону города и не глядел. Годы шли; когда кто-нибудь заикался о том, чтобы Лексо жениться, тот мрачнел и говорил: да пропади они пропадом, эти бабы. Лет тридцать уж было ему, и в одно воскресное утро отправился он с ребятами в ближнее село: у ребят там был назначен турнир по борьбе, вот и упросили они Лексо быть судьей. Дома делать все равно нечего, он и пошел. А когда возвращались, хлынул дождь; по дороге им встретилась девушка, мокрое платье плотно облепило ее налитой стан, бедра. Она прошла совсем близко от Лексо, полногрудая, краснощекая... Лексо проводил ее взглядом,



и запала она ему в душу. Разузнал, кто такая. Неделю спустя послал он в ту деревню брата с товарищем ни на ком, кроме нее, говорит, не женюсь. Брат сходил, вернулся: у девушки той, оказывается, полгода назад погиб человек, которого она любила. Рассердилась, когда свататься к ней пришли, и велела передать: если уж ему так хочется, чтобы я женой его была, пускай, дескать, подождет — может, когда и согласюсь.

— А тот, царствие ему небесное, случайно не учитель был? — спросил Лексо. Брат удивленно взглянул на него:

— Причем тут учитель? Вроде бы нет...

— Да это я так... Если не учитель, я подожду, — сказал Лексо и в самом деле три года ждал. Через три года он опять отправил брата в соседнюю деревню, и вскоре краснощекая девушка стала его женой.

Пятнадцать лет прожили они вместе, и пятнадцать лет с радостью возвращался Лексо домой и с радостью встречал каждую ночь...

И вот он стоит посреди комнаты, озирается по сторонам. Он не спал три ночи. В тот день, когда жена умерла, на него надели костюм, который прежде он никогда не надевал, да что поделаешь — к костюму еще можно было привыкнуть, но потом кто-то сказал, чтобы на него и галстук надели, а то приедут из города двоюродные братья бедной Тамро, неудобно же без галстука, — и Лексо подумал: «Ей-богу, свихнусь». Он долго сопротивлялся, но галстук все же надели. Так с тех самых пор и ходил Лексо, облаченный в черный костюм, черную сорочку и при темно-зеленом галстуке.

О том, что больше всего мучило Лексо, он не мог сказать никому; ему было так стыдно, он так ненавидел самого себя, что ни единой живой душе не смел о том обмолвиться. Когда Тамро умерла и все начали плакать, Лексо оцепенело переводил глаза с плакальщиц на мертвую Тамро и никакого горя не испытывал. Он словно пришел посочувствовать из вежливости горю кого-то чужого, далекого. Первую ночь он просидел на скамейке во дворе и не мог заснуть лишь от стыда за собственное бессердечие. Он надеялся, что завтра все будет по-другому. Но завтрашнее утро он встретил так же, как и всегда, посмотрел на небо, подумал — какое хо-

рошее утро, — вошел в комнату, где покоилась Тамро. Взглянул сначала на портрет, что висел на стене, потом на жену. Печали не было и в помине, он снова вышел на деревянный балкон и принялся разглядывать деревню. И так прошел день, то самое «завтра». В день похорон с утра пришли родственники Тамро и старенькая бабушка из соседней деревни. Может, хоть это, — подумал Лексо, — может, хоть их-то слезы меня как-нибудь проймут. Села бабушка подле гроба, заплакала, запричитала; услышав бабушкин плач, вбежали в комнату дети, и тут началось что-то ужасное. Видел Лексо, как убивалась старуха, слышал, как она рыдала: «Ты должна была засыпать мой гроб землей, как же мне тебя хоронить!» Видел, как плакали три его дочери у тела матери, — и хоть бы что, будто он в доме врага своего. Это что же я за бездушный такой, — думал он. До похорон оставалось еще два часа. Он спустился во двор и направился к брезентовому навесу, натянутому для поминок. Под навесом возились женщины, расставляли тарелки по длинному столу, рядом ставили стаканы, посреди стола выстраивали кувшины с вином. Лексо взял один кувшин, огляделся. Поблизости хлопотал сосед Мито, помогал варить хашламу. Лексо подозвал его, вдвоем они уселись во главе стола. Лексо наполнил два граненых стакана и тихо произнес: «Пусть моей Тамро хорошо будет на том свете!» Выпили. И тут же Лексо понял, что сказал он эти слова просто потому, что знал — должен сказать. Они выпили еще по стакану. И еще несколько раз они наполнили и осушили стаканы. Когда кувшин опустел, у Мито уже заплетался язык. Под навес вошла девочка и позвала: «Пойдем, папа, там кто-то из города приехал». Лексо поднялся, занял свое место в комнате. «И оно не помогло», — подумал он про вино.

Настал час похорон. Собралось все село. Женщины плакали, мужчины курили и молчали.

— Ну, смотри, Лексо, держись, — сказал кто-то. Потом ему сказали: «Подойди, поцелуй ее». Он не хотел. Ему снова сказали: «Сейчас поцелуй и еще раз там, на кладбище». Если б кто-нибудь только знал, как не хотелось этого Лексо, его бы оставили в покое. Он склонился и поцеловал холодный лоб. Ему

показалось, что он поцеловал дерево. Женщины завопили, а Лексо остался все таким же безучастным.

На кладбище ему пришлось опять поцеловать Тамро, и тут он услышал ядовитый шепот кого-то из женщин: «Гляди-ка, такую ягодку-земляничку червям отдает, а самому хоть бы хны!» И еще больше рассердился Лексо на себя и почему-то — на Тамро... К вечеру посвежело. Поминки продолжались допоздна. Лексо много пил. Откинувшись на спинку стула, он с удовольствием подставлял лицо ветерку. Народ расходился по домам. Перед уходом все подходили к Лексо и говорили: «Крепись!» А ему все хотелось выкрикнуть в ответ: «Да такого крепкого, как я, такого пса, такой свиньи бессердечной тут и нет больше!» Только все никак не решался он выговорить это вслух... Лишь под конец он сказал Мито: «Я нехороший человек». Настала ночь. Дети пошли с бабушкой в соседнюю деревню. Жена Мито сказала Лексо, чтобы за маленького своего он не тревожился, — она берет его к себе. И Лексо остался во дворе один. Он встал, медленно поднялся по лестнице в дом, вошел в комнату, сорвал с шеи галстук, повесил костюм на стул, разделся и в первый раз — после смерти Тамро — лег в постель. И сразу заснул. Было уже за полночь, когда он проснулся — словно кто-то его разбудил. Он посмотрел в темноту, повернулся на другой бок, уткнулся носом в подушку. Подушка хранила запах Тамро. Лексо с силой вдохнул запах и еще глубже зарылся лицом в подушку. Немного полежал так, потом еще глубже вдохнул запах и еще сильнее прижался к подушке.

— Мито, Мито, да проснешься ты когда-нибудь! — пыталась жена растолкать Мито. Мито быстро сел на кровати, испуганно бормоча: «Кто там, что такое!» Убедился, что все в порядке, и собрался снова улечься спать.

— Мито! Ты слышал?

— Что такое?..

— Не слышишь разве? Кто-то воет, может, волки?

— Мать моя родная, да какие же волки в середине лета? — сказал муж, однако встал, босиком вышел на балкон и вскоре вернулся.

— Ну что, Мито? — испуганно спросила жена.

— Да Лексо, бедняга... ревет, как бык раненый.

Супруги немного помолчали.

— Может, сходишь к нему, а, Мито? Ведь один он там...

— Ну схожу — и что скажу? Как утешать буду? Мол, вернется она и рядом ляжет, что ли?..

НУЦИКО ЭМХВАРИ

НУЦИКО Эмхвари исполнилось восемнадцать лет; в зеленых глазах ее вспыхивали детские искорки, а руки, вся фигура уже поражали своей женственностью. Черные волосы, собранные на затылке, приоткрывали шею. И походка ее была легка, так легка, словно Нуцико не ходила, а порхала.

Она окончила шестую школу. В университете увлеклась поэзией, до поздней ночи зачитывалась стихами. А еще она видела сны. Порой в этих снах не было ничего особенного, но когда она просыпалась, ей бывало почему-то очень радостно.

Нуцико любила театр, любила сам запах сцены. И билеты она старалась покупать поближе к сцене. Во время спектакля Нуцико не сводила глаз с актеров. А в антрактах она разглядывала нарядных женщин в дорогих украшениях, которые обмахивались белыми веерами и подолгу беседовали друг с другом.

Воспитывала Нуцико бабушка. Девочка была очень похожа на маму. Мама была молода, красива и полна жизни. Нуцико было пятнадцать лет, когда мама внезапно умерла — от сердца. Умерла неожиданно для всех. Не мучилась. Отца Нуцико не помнила. И бабушка растила осиротевшую девочку в огромном доме, где стоял старый рояль красного дерева и старинная мебель с потертыми зелеными бархатными креслами. А на окнах висели толстые, тяжелые шторы.

Иногда к Нуцико приходили товарищи. Первокурсники старались держаться как взрослые и чинно беседовали. Потом они просили Нуцико что-нибудь сыграть, и она своими тонкими пальцами исполняла какой-нибудь забытый русский вальс.

Когда Нуцико оставалась дома одна, она осторожно приоткрывала дверь маминей комнаты, подходила к шкафу, начинала перебирать платья — они еще хранили легкий аромат духов и тела мамы. Нуцико надевала какое-нибудь платье и оборачивалась к зеркалу. И глядела на фотографию женщины с лебединой шеей, которая смеялась со стены. А Нуцико тихо плакала, потому что без мамы было очень тоскливо.

Сначала студенты громогласно восхищались красотой своей подруги. Потом перестали, ибо один из них полюбил Нуцико.

Нуцико тоже нравился Гурам, во всяком случае она выделяла его среди других. Гурам был высокого роста, у него было детское лицо и черные, печальные глаза. Как-то, готовясь к экзаменам, после вечерних штудий в университете Гурам проводил Нуцико до дому. Всю дорогу он что-то рассказывал, смущался оттого, что волнуется и говорит путано, и вдруг, остановившись у большого парадного, он поцеловал ее в щеку, около губ.

И теперь в своих снах Нуцико не расставалась с Гурамом и даже целовалась с ним. А через некоторое время она целовалась с ним уже наяву, стыдясь чего-то и краснея от смущения и удовольствия.

Она бывала у Гурама дома. Стены единственной комнаты были выбелены, в углу стояла железная кровать. Рядом был маленький столик, на котором часто оставались пустые винные бутылки и полная окурков пепельница. Книги лежали на полу. Испорченные стенные часы вечно показывали одиннадцать. Две стенки были сплошь увешаны рисунками Гурама, а среди них выделялся натюрморт с цветами, который один французский художник подарил деду Гурама, когда тот в молодости побывал во Франции.

Нуцико очень любила этот натюрморт; она часто подходила к стене, осторожно дотрагивалась до рисунка и поспешно отдергивала руку, как ребенок, нарушивший запрет.

Почему я так люблю этот рисунок? — спрашивала она себя. А просто она смотрела на эти цветы, когда в первый раз поцеловала Гурама.

Ночью она не спала, утром пришла к Гураму, неслышно подошла к кровати и поцеловала его в висок. Гурам открыл глаза, и в них отразилась Нуцико. На

ней было красное платье с большим белым воротом; глаза сияли. Нуцико присела на кровать. «Хочу кофе!» — сказала она и тут же прибавила: «Я сама сварю». Вскочила и выбежала к плите. Гурам взглядом проводил ее стройные ноги, что так легко несли свою хозяйку.

Она вернулась и долго целовала его. Руки поспешно расстегивали пуговицы на красном платье. «Кофе убежит», — тихо сказала Нуцико, хотела сказать еще что-то — и уже не смогла. Рукой она ощущала холод железной кровати. Ей было стыдно. Потом она нашла глазами свой любимый рисунок. Потеряла. Снова нашла, он несколько раз качнулся на стене, отдалился, уменьшился, пропал. В комнате слышно было громкое дыхание и шипение перекипающего кофе.

Самым прекрасным в жизни Нуцико Эмхвари был один январский вечер. Падал снег. В светлом пятне уличного фонаря было видно, какими большими хлопьями он падает. И было так покойно, как бывает только когда идет снег. Нуцико наигрывала что-то на рояле; она почувствовала на себе чей-то взгляд и крутанулась на круглом табурете. На Гураме была черная сорочка и коричневая куртка с облегающим воротником. И в эту минуту яснее ясного поняла Нуцико, что без него она не может. Она повисла у него на шее, поцеловала в щеку, и ей было приятно, что щека так холодна, словно принесла с собою мороз и зиму.

Они вдвоем сидели за круглым столом, Нуцико хотелось, чтобы это длилось долго-долго, она бы все глядела в черные глаза Гурама, и чтобы они с Гурамом были все так же молоды.

А потом — «Выходи за меня замуж», — сказал Гурам, когда Нуцико вовсе этого не ждала. Она засмеялась, он тоже смутился. Не сейчас, летом, — решили они.

Летом на вокзале была страшная жара, пыль и крик. Толпились женщины, мужчины, дети, военные и штатские. Товарные вагоны были переполнены солдатами. Женщины целовали мужчин в военных шинелях и плакали. Звуки духового оркестра из репродуктора не могли покрыть шум. Нуцико с товарищами стояла у деревянного столба. Среди них было несколько солдат. Один стоял рядом с нею. Он был выше всех ростом, и глаза

у него были черные и печальные. Нуцико держала ее руку в своей и молчала. «По вагонам!» — кричал кто-то. «Ты ведь будешь ждать, — говорил он Нуцико, целуя ее глаза, — и береги себя, слышишь!» Он вскочил в вагон, потом растолкал ребят, снова очутился на перроне и поцеловал мокрые глаза. «Перебирайся ко мне... Да скажи же что-нибудь, — просил он. — А если со мной что случится, сохрани наш рисунок». Кто-то втолкнул его в вагон. Среди тысячи других различала она машущую ей худую руку. Нуцико тихо плакала. Поезд двигался медленно и уносил с собою все.

В сентябре сорок второго Нуцико получила похоронку.

Прошло время. В глазах ее больше не было детских искорок, а в теле — легкости. Она по-прежнему смотрела на рисунок, но ей уже ничего не снилось, да и просыпаться не хотелось.

Потом прошло еще много времени. Она познакомилась с каким-то инженером из России и вышла за него замуж. Год прожила в другом городе, с чужим, в сущности, человеком. Больше она не выдержала и вернулась в эту маленькую комнатку.

Странная она, — говорили о Нуцико Эмхвари, а кто-то заметил: это она все после того парня никак в себя прийти не может. Вроде и замуж вышла, хватит, кажется, — столько времени прошло. Ненормальная какая-то. А потом никто уж и не вспоминал ни имени, ни фамилии Нуцико Эмхвари; если о ней заходила речь, говорили: та красивая, странная женщина, что живет одна.

Ей исполнилось пятьдесят; она сидела в кресле в своей комнатке. На стене часы, как прежде, показывали одиннадцать. Возле часов висел натюрморт с цветами. Нуцико дремала и в темноте говорила кому-то: скоро приду. Боль в сердце разбудила ее. Она попыталась встать, это ей удалось. Боль внезапно ушла и унесла с собой все силы, так, что стало даже приятно. Нуцико взглянула на цветы, устало улыбнулась, тихо опустилась в кресло и поняла, что больше ей уже не встать.

Шел дождь. Небо было какое-то закопченное, на земле валялись мокрые желтые листья. Лицо и тело Нуцико Эмхвари покрывала серая ткань. Могильщики

уже успели продеть под гроб веревки и словно готовились к старту, ожидая сигнала. Стояла тишина, какая бывает только на кладбище. Вдалеке в голос заплакала какая-то женщина.

— А все же как она его любила! Помнишь? — сказал высокий седой мужчина, обращаясь к худощавой даме с зонтиком.

— Не говори, — почему-то по-русски отвечала дама.

— Какая она была красивая, — так же по-русски сказал мужчина и прибавил: — Бедная Нуцико...

— Нет, она была ненормальная, разве можно так без конца любить, — женщина вытерла платком совершенно сухие глаза и уже по-грузински добавила: — Господи, прости меня, грешную.

В комнате Нуцико Эмхвари стоял длинный стол с вином и закусками. Деревянные скамьи были покрыты газетами.

Когда поминки кончились, соседи долго еще объяснялись друг другу в любви. Потом они разошлись по своим квартирам. В пропитанной винным духом и сигаретным дымом комнате остался лишь натюрморт с цветами. Молодая соседская невестка сняла со стены натюрморт и унесла его, затем повесила на дверь большой замок. «Комнату отобрал, так хоть уж рисунок этот я Вардену Кикачеишвили не оставлю», — сердито подумала она.

КАПИТАН

ДВЕРЬ открыла молодая девушка, и его морская шинель явно ее смутила.

— Вам кого?

— Я хотел бы видеть Лиану, — отвечал немолодой уже мужчина. «Как похожа», — подумал он и улыбнулся девушке.

— Заходите, пожалуйста, — она широко распахнула дверь. Моряк вошел.

— Раздевайтесь и проходите в комнату, мама скоро вернется, — сказала девушка и еще раз внимательно оглядела его.

Капитану было за пятьдесят, он был худощав, продолговатое лицо с синими, слегка выцветшими глазами;

он снял шинель, и когда вешал ее на крючок, девушка заметила кусочек вытатуированного на жилистой руке якоря. Без шинели он казался еще более худощавым. Моряк одернул рукав, пригладил рукой волосы и вновь глянул на девушку.

«Эх, будь он помоложе», — подумала она и улыбнулась.

Капитан вошел в комнату.

— Присаживайтесь сюда, — указала девушка на белое кресло в стиле рококо. Моряк опустился в кресло, неловко сидел несколько минут, затем устроился поудобнее и принялся разглядывать комнату. Стены были увешаны картинами, он узнал почти всех художников, кроме двух или трех, и удивился, откуда здесь столько подлинников таких знаменитых мастеров. В углу сложенный из черных плиток камин — из тех, что никогда не топят. Над камином висели дорогие тарелки. Кроме кресел, в комнате стоял такой же резной столик, а на нем — пепельница, сделанная из большого, массивного слонового бивня. В ней не было заметно и следов пепла.

«Что же было в этой комнате? — спрашивал себя капитан. — Были кресла, только не такие, попроще. На стенах — ничего, или нет, висело несколько простых рисунков и зеркало, небольшое дамское трехстворчатое зеркало с полочкой, где стояла фотография ее матери, и еще та фотография, где мы сняты вместе, и перламутровая пудреница. Допотопный книжный шкаф. Господи, как давно все это было».

Из соседней комнаты донеслись звуки пианино, игравший несколько раз повторил начало. Потом музыка уже не прерывалась. Капитан не мог вспомнить, что там играли, но ему очень нравилась мелодия. Инструмент смолк. Раздался бой часов, моряк обернулся. Высокие стенные часы показывали семь. Он извлек из кармана свои часы и сверил их со стенными. Дверь комнаты, откуда слышалась музыка, открылась, и на пороге показалась девушка.

— Это вы играли? — спросил капитан.

— Да, — смущенно ответила она. — Вам, должно быть, скучно...

— Нет-нет, напротив, мне очень понравилось.

Девушка была польщена. «Я сейчас», — пообещала она и вышла. Немного погодя она появилась снова, неся вазу с фруктами. Вазу она поставила на круглый столик.

— Не беспокойтесь, — сказал моряк.

— Ну что вы, угощайтесь, пожалуйста, — она взяла нож и принялась очищать яблоко.

«Пальцы такие же, как у нее, — подумал капитан, — такие же легкие».

— Уж не знаю, почему она запаздывает, — сказала девушка так, словно она была виновата в том, что мать запаздывала.

«Может, не стоило приходиться», — почему-то подумалось гостю.

— Угощайтесь, — она пододвинула к нему тарелочку с яблоком.

— Благодарю.

Что сказать еще—девушка не знала. А капитан ничего говорить и не собирался, и в комнате воцарилось молчание. Девушка встала, подошла к часам, вернулась.

— Берите еще, — предложила она. Ему больше не хотелось, но он взял, улыбнулся и сказал, что очень вкусно.

— Как рано темнеет зимой, — сказала девушка.

— Да, очень рано. — «И голос тот же, и манеры, и походка».

— Вообще-то женщину не принято спрашивать о возрасте, — усмехнулся капитан, обнажая белые зубы, — и все-таки, дочка, сколько тебе лет?

— Двадцать один, — тихо ответила она.

«Ровно двадцать пять лет», — подумал капитан.

Девушка заглянула ему в глаза.

— А вы на корабле служите?

— Верно, на корабле.

— И, видно, давно уже.

— Очень давно. — И снова молчание.

— Если вы хотите, чтобы я не скучал, поиграйте еще, — попросил он.

Девушка встала и не спеша вышла в другую комнату, оставив дверь открытой, так что моряку было видно, как она садится за инструмент.

— Что сыграть? — спросила она оттуда.

— Что хотите.

— Вы скажите — что, а я сыграю.

Внезапно капитана охватила радость, какая-то непонятная, ни с чем не связанная радость. Так было двадцать пять лет назад. Пальцы бегали по клавишам. Всю свою жизнь он ждал, что это чувство повторится, а оно все не приходило, и он привык к мысли, что его и не будет вовсе. А теперь пятидесятилетний мужчина заволновался, как мальчишка, вскочил с кресла, заходил по комнате так, словно находился у себя дома; подошел к окну, подумал: «А ведь я еще не так уж плох». И впрямь, он радовался чему-то, как мальчик.

Музыка не прекращалась. И не пятидесятилетний человек стоял сейчас у окна, а стройный, улыбающийся юноша, и возраст выдавало лишь одно — застывшие в глазах слезы.

Девушка кончила играть. Моряк обернулся.

— Запаздывает, — сказала она.

— Что запаздывает?

— Мама запаздывает, — удивленно ответила девушка.

— Да, мама запоздала, — улыбнулся моряк.

— Знаете, у мамы никогда не было больных моряков.

— То есть?

— Извините, я хотела сказать — пациентов-моряков.

— А-а... Значит, пациентов-моряков... — снова улыбнулся он девушке. — Я не пациент, я друг вашей мамы.

— А-а...

— Не знаю, вы ли так хорошо играете, я ли вдруг помолодел... Вы, должно быть, учитесь в консерватории?

— На втором курсе, — отвечала девушка; казалось, она думает совсем о другом. — Мне тоже очень нравятся моряки, — сказала она вдруг.

«Мне так нравятся моряки», — мы были тогда такие же молодые, нет, даже чуть моложе, когда она сказала мне, что любит моряков. «Мне так нравятся моряки», — вспомнилось ему снова. — Как давно, как давно это было, — думал капитан, — никогда еще я не чувствовал время так, как сегодня.



— Так что я, наверное, и полюблю моряка, — сказала девушка.

— Берегитесь, не так-то легко быть женой моряка.

— Если бы я родилась мужчиной, непременно стала бы моряком.

«Если бы я родилась мужчиной, была бы моряком», — это уже не сходство, это повторение, а я еще спрашивал себя, была ли вообще эта любовь, любовь и все остальное — такое давнее и такое реальное до сих пор; ну, конечно, была».

— А во время шторма, наверное, очень страшно.

— Очень. Но теперь уже не страшно.

— Может, уже и не так, но все равно ведь нужно столько мужества, чтобы быть там в сильный шторм.

— Все равно деваться-то некуда, приходится там быть.

— «Когда примчался шквал, на «Теодоре Нетте»

Сломались мачт стволы и канули в волне.

Во время плавания упорней мысли эти,

Ни от одной из них не отвязаться мне»¹, — тихо продекламировала девушка тоном, каким говорят маленькие девочки, желая показать, что и они многое прочитали, повидали и пережили.

Моряк сдержал улыбку.

«А ведь как верно,— тут же подумал он:—«Во время плавания упорней мысли эти, ни от одной из них не отвязаться мне».

«Мне так нравятся моряки»; мы были тогда на втором курсе...

Телефонный звонок прервал его размышления. Девушка взяла трубку.

— Алло... Нет, сейчас не могу, — сказала она и покраснела, однако после небольшой паузы все же согласилась: — Ладно. Через пятнадцать минут.

Она повесила трубку; стараясь не глядеть на гостя, вышла в прихожую и вернулась уже в пальто.

— Я на десять минут выйду, вы уж извините, что оставляю вас одного.

— Да и я, пожалуй, пойду, — сказал капитан и поднялся. — Мама задержалась.

¹ Галактион Табидзе. «Город под водой». Перевод И. Поступальского.

— Нет, тогда я никуда не пойду, я вас очень люблю... Через десять минут я вернусь.

Моряк улыбнулся.

— Подруга хочет мне что-то сказать.

«А ей, наверное, хочется, чтобы эта подруга была моряком», — подумал капитан.

Хлопнула дверь. «Как же давно это было. А вдруг все-таки не узнает?.. Да нет, не может быть, чтобы не узнала. Неужели я так изменился?» — он волновался как ребенок, разглядывая себя в большом зеркале.

Двадцать пять лет назад точно так же стоял перед зеркалом второкурсник и причесывал влажные волосы. Был вечер. Он ждал ребят, они собирались пойти на день рождения к Лиане Кипиани. Он дружил с Лианой уже два года, они вместе учились в медицинском. Он очень любил Лиану, и она любила его. Некоторые даже считали, что Лиана любит больше. Он хорошо понимал, что должен чем-то превосходить ее, чтобы она любила его еще сильнее. Он хотел быть ее мечтой. Что делать, такова была Лиана Кипиани. И тогда, причесываясь перед зеркалом, он думал о том, что Лиана совсем не такая, как другие, — ведь каждый думает так о той, кого любит.

Он надел белую сорочку и принялся бриться, хотя брить было почти нечего. «Сегодня скажу», — думал он и улыбался.

В тот вечер Лиана много говорила и охотно смеялась. А его это раздражало. Особенно рассердило его, когда Лиана долго смеялась шутке сидящего рядом с ним парня и даже чмокнула того в щеку. «Нет, надо сказать ей сегодня же», — думал он, не сводя глаз с девушки. Засиделись допоздна. Подвыпившие студенты заговорили о будущем. И только он собрался вывести Лиану в соседнюю комнату, чтобы сделать ей предложение, как один их однокурсник, сильно пьяный, и, в собственном представлении, натура очень поэтическая, предложил выпить за мечту. Он говорил долго и бестолково и закончил свой тост заявлением, что самое заветное его желание — жениться на поэтессе.

— А ты, Лиана, за кого бы ты хотела выйти замуж? — патетически вопрошал тамада.



— Я? За летчика, нет, за моряка, точно, за моряка. За капитана. — Она обернулась к нему и тихо сказала: — Мне так нравятся моряки.

В тот вечер он ничего не сказал Лиане. А через неделю забрал из института свои документы и переслал их в мореходное училище. В том же году он поступил туда. «Как только вернусь, женюсь на Лиане», — думал он. А через два месяца началась война. Позже он часто размышлял о своей детской выходке. Размышлял во время боя, когда выпадала короткая передышка. Чаще — по ночам. Размышлял и тогда, когда был уже помощником капитана, когда Лиана стала женой другого, да и сам он тоже был женат.

Раздался звонок. Капитан смутился, вспомнив, что находится один в чужой квартире, нерешительно подошел к двери и осторожно отпер ее.

Женщина вопросительно посмотрела на него, вошла в прихожую, сняла пальто и торопливо проговорила: «Проходите в комнату, я сейчас». Моряк улыбался. Казалось удивительным, что он столько думал об этой встрече, не представляя себе, какой она будет, а встреча оказалась такой обыденной, настолько обыденной, что даже его самого не взволновал тот миг, когда он увидел и узнал Лиану, — он лишь слегка покраснел. Вернувшись в комнату, он снова уселся в кресло. Вскоре появилась хозяйка.

— Вы знаете, я больше не принимаю больных дома, — сказала она моряку и посмотрела на часы. — А что, разве моей дочери нет?

— Она скоро придет, — улыбаясь, сказал моряк.

«Интересно знать, чего он смеется», — подумала женщина, заметив эту улыбку.

— Я дам вам адрес моей подруги, она тоже прекрасный врач. Можете обратиться к ней от моего имени.

«Как же она до сих пор не узнает, — мелькнуло у него, — хотя... столько лет прошло».

Она глядела на него и удивлялась, что капитан не двигается с места.

— Она живет недалеко, метрах в двухстах отсюда. Хотите, я напишу ей записку?

Капитан резко встал, вышел в прихожую, надел шинель и направился к двери.

— А как же адрес?

— Видите ли, я... — начал капитан и рассердился на себя за то, что голос дрогнул. — Лиана, ты что же... не узнаешь меня? — сказал он тихо.

— Простите?

— Это же я... Ну, тот... Моряк... Гоги... Не узнаешь?

— Ой, капитан, наш капитан, а я тебя совсем не узнала! — сказала женщина так просто и обыкновенно, что капитан предпочел, чтобы она или вовсе его не узнала, или чтобы прогнала. Уйти уже было невозможно, и он вернулся.

— Проходи, Гоги,—повторила хозяйка,—вот сюда, в залу; не узнала, понимаешь, семья, ребенок, муж, закрутилась я совсем.

Капитан снова сел в свое кресло, хозяйка — напротив.

— Ну как поживаете, капитан, что вас беспокоит?

— Да я тут поблизости был, вот и решил заглянуть, — солгал капитан.

— Ну и прекрасно. Замечательно... А вообще, как ты?

— Так, помаленьку.

— Ты обедал?

— Да, только что.

— Только, умоляю, не стесняйся, ты же тут, верно, один, где ты мог пообедать?

— В ресторане.

— Ой, ну, прекрасно.

— А ты внешне не изменилась.

— Правда? Ведь столько лет прошло...

— Да, много воды утекло.

— А ты что поделываешь, где ты, что ты?

— Живу в Сухуми, капитан корабля.

— По-прежнему на корабле?

— Ага.

— Интересно, наверное. Ты доволен?

— Да ничего как будто бы.

— Слушай, пока ты здесь, не приходил случайно такой низенький человек, шофер?

— Какой шофер?

— Шофер Гиви, наш шофер, он должен яблоки привезти из Гори.

— Нет, никто не приходил.

— Не приходил, значит... Ей-богу, еще раз ставлю Гиви его прогнать, хватит...

— Гиви — твой муж?

— Да.

— Где он работает?

— В министерстве здравоохранения, заместитель министра... так значит, не приходил, да?

Капитан прикусил язык, чтобы подавить истерический смехок.

— Нет, не приходил. А как фамилия Гиви?

— Кобахидзе.

— Тот Кобахидзе, что с нами...

— Ага, тот, что с нами учился.

— Что ты говоришь!

— А что такого?

— Я слышал, Кобахидзе погиб на фронте.

— Да нет, на каком фронте, его не взяли.

— Это тот самый Гиви, который на твоём дне рождения спрашивал тебя, за кого ты хотела бы выйти замуж?

— На каком дне рождения?

— На последнем дне рождения, ну, когда я ушел в мореходку... — объяснял капитан только для того, чтобы о чем-то говорить.

— Да-а... — протянула она. — Да, это тот самый Гиви. Слушай, что за ребячество ты тогда учинил. Куда ж это годится, а!

Капитан рассмеялся, с трудом удержавшись, чтобы не расхохотаться.

— Я сварю кофе.

— Не стоит, мне пора.

— Ах, пока Гиви не придет, я тебя никуда не отпущу. Нет, но как же это шофер мог не прийти!..

— Да уж, не приходил.

— Ты, наверное, и семьей обзавелся.

— Было такое дело, только мы разошлись... Сын у меня в России.

— Сколько ему?

— Двадцать один.

— Я сейчас фрукты принесу.

— Нет, спасибо. — Впервые в жизни мысль о фруктах вызвала у капитана тошноту.



— Значит, ты доволен. И прекрасно. Эх, что может быть лучше морской службы!

— Чего же ты тогда не вышла за моряка или еще за кого-нибудь в этом роде, как ты прежде мечтала?

— Э, Гоги, ты опять ребячишься. Почему Гиви так долго нет? И мастер телевизионный не идет.

Капитан машинально взглянул на телевизор.

— Ведь сколько времени прошло, — сказала она.

Эти слова вернули капитану проблеск надежды. «Быть может, еще осталось в этой женщине хоть что-нибудь от той, тогдашней», — подумал он и тихо ответил:

— Да, времени прошло много.

— Уже ровно три дня, как мы его вызвали, а он все не приходит. В жизни не встречала ничего подобного.

Моряк встал.

— Пойду я, Лиана.

— Остался бы, Гиви скоро придет, — поднялась и хозяйка.

— Да нет, пойду.

Капитан вышел в прихожую и, надевая шинель, почему-то бросил взгляд на потолок. Хозяйка уловила этот взгляд.

— Да вот, никак не заставлю Гиви сменить старую люстру. Здесь такой ни у кого, кроме нас, уже не висит.

— Заставь непременно. Всего доброго, Лиана.

— Будь здоров, капитан. Заглядывай, когда приезжаешь.

Капитан рассмеялся громко и как-то нервно.

Он поспешно сбежал вниз по лестнице и быстро пошел прочь.

— Боже мой, какой кошмар, — думал он, понемногу остывая. — Какая идиотская история! Кто знает, может, не пойди я тогда на день рождения, не услышь я от нее тех слов, я сейчас не был бы так одинок. Кретин. Вот так, всю жизнь принести в жертву болтовне глупой девочки и где же теперь эта девочка, мечтательная и милая? Значит, ее и не было. Кретин, — снова сказал он себе. — Болван! Ох уж эти глупые мечтательные девочки и еще более глупые мальчишки!

Чья-то рука остановила его. Перед ним стояла Лиана. Юная, как двадцать лет назад, худенькая, пролезавшая.

— О... Моя маленькая девочка, вам ведь тоже очень нравятся моряки, — усмехнулся капитан. — Наверное, это у вас семейная традиция, — и понял, что сказал лишнее.

Девушка взяла его под руку, капитан смутился, как мальчик, заглянул ей в глаза.

— Я знала, что вы убежите, — тихо сказала она.

— Откуда ты знала? — спросил моряк.

— Ведь мама вернулась.

— Вернулась.

— Я знала, когда мама вернется, вы убежите. Одна мамина подруга рассказывала мне о вас. Мама очень изменилась... — В глазах у девушки капитан увидел слезы.

— Изменилась! Это просто не она, это совсем другая женщина, и вам тоже надо измениться, наверное так лучше. А не то... Ведь кто-нибудь же может...

Капитан не договорил.

Перевод Александра ЗЛАТКИНА

ДВА ПОЭТА



Для меня, как и для нашего журнала, гордо носящего название «Литературная Грузия», что означает существование на свете такого феномена — Грузии литературной, — всегда было огромной радостью поэтическое крещение на наших страницах талантов истинных, чистых, ясных, несущих в себе и собою утверждающих «разумное, доброе, вечное». Я сознательно вспоминаю сейчас эти хрестоматийные определения, ибо они и ныне оказываются в особых случаях более точными, чем иные наши глубокомысленные или рафинированные критические изыски. С таким особым случаем имеем мы дело, предлагая читателю стихи Сергея Серебрякова и Паолы Урушадзе. В одном случае — известный ученый-филолог, в другом — театровед, явно давно, изначально, пишущие стихи (об этом говорит уровень их опыта, сказывающийся в стихах), не торопились предлагать их в печать, и в одном случае — Сергей Серебряков — десятилетиями, а в другом — Паола Урушадзе — годами настаивали и выдерживали свой дар. Но зато ничто для них не проходило даром, все лило «на мельницу» будущих (для читателя будущих) стихов, было на благо тому часу, дню и году, когда они, наконец, решились обнародовать часть своего ИТОГА. И это тот несчастный случай, когда безукоризненный профессионализм и природный стихотворческий дар никогда не подменяют собою плоть и душу стиха, ту высокую цель, ради которой существует поэзия и достижение которой дано лишь талантливым поэтам. Сергей Серебряков и Паола Урушадзе — талантливы, и этим все сказано. Об остальном, т. е. о мире, охватившем их талантом и которым захвачен их талант, говорят сами стихи. В одном случае (Паола Урушадзе) — конкретно-изобразительно, пластически выразительно, в другом (Сергей Серебряков) — исповедально - интонационно, медитативно-лирически. В первом случае — о родном городе, об образах детства, об унаследованном и чтимом родном окружении с редкими выходами за его пределы; в другом — с обращением к городу и миру, с монологами ненавязчиво философского оттенка по поводу как рядом происходящего, так и в большом мире свершающегося.

А объединяют их, при всей иной несхожести, тот органический, с молоком матери впитанный интернационализм и «чувство равенства со всем живущим на земле», чем всегда по праву отличался наш город, наша страна.

Я ничего к этому не добавлю, оставив за собою радостное право вернуться в будущем к этой, уже захватившей меня теме. А теперь пожелаем счастливого пути к читательской аудитории этим прекрасным людям (в стихах этого не скроешь, как и качеств обратного свойства) и хорошим поэтам.

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

* * *

Медленно бреду
по улицам, крутым и узким...
Кругом клокочет
незнакомая, гортанная речь...
Ну и что из того, что я —
русский?

Знайте:
любой язык
я смогу и постичь, и сберечь...
Город закипает, зеленью
весенней пенясь...

На эту красоту
гляжу, не дыша,
верю: здесь воскреснет,
как из пепла Феникс,
моя — столько раз уже
сгоравшая —
душа!

Буду скоро со всеми знаком
километров на сто вокруг,
я смогу войти в каждый дом,
буду принят, как старый друг.
Мне дадут молодого вина,
вспыхнет пламенем песня

в крови,
потому что душа полна
настоящей, моей любви.
Вместе с вами боретесь
и жить,
сердцем биться в каждой
строке...

Я клянусь вам когда-нибудь
песню сложить
На грузинском, моем языке!

* * *

Бьют куранты на Спасской
башне,

И на город ложится темь,
И уходит во тьму вчерашний,
Безвозвратный уходит день...
Он с последним ударом вместе
Отзвенел — и навеки стих...
Так молчит недопетая песня
И поэтом не конченный стих.

Пусть кругом бушуют стихии—
Но у стен вековых Кремля
Мерно бьется сердце России,
Необъятное, как Земля,
Та Земля, что взлетает
в космос

И вгрызается вглубь себя,
Побеждая былую косность,
Ненавидя, тоскуя, любя...
Поклянись ей на лобном месте,
Охлаждая камнями лоб,
Как клянется жених невесте,
Что ей верен будет по гроб.
Ты отныне станешь причастен
Светлой тайне — любви навек,
Ты узнаешь, какое счастье
До рассвета бродить по
Москве

И, шагая по улице гулкой,
Выйти вдруг на тихий проспект
И в лучах зари в переулке
Вновь увидеть, как падает
снег...

Свежевыпавший, чистый-
чистый

Осыпается снег с ветвей.
Ты пойдешь дорогой лучистой
С затаенною думой своей:
«Все, что дорого нам и свято,
Все, что солнцем горит
в сердцах —
Нежность матери, верность
брата

И суровую мудрость отца,
Все, что в памяти свято
храним мы
Всей недолгой жизни года —
Все с тобою, мой город
любимый,
Я связал. Навсегда»...

* * *

Виденья былого!
Зову вас, явитесь!
Явитесь — и снова,

и снова я — витязь.
Я в шкуре тигровой
скачу на коне —
и солнце багровое
мчится ко мне!
Далеко, за морем —
отчизна моя,
а здесь, на просторе —
пустая ладья,
и песня победная
вьется, как птица:
ужели бесследно
все это промчится,
и нашим потомкам
никто не расскажет,
не скажет о том, как
рубил мы каджей,
о том, как от сечи
кравовой устав,
упали на плечи
любимой Нестан
могучие руки —
орлиные крылья?
Победные трубы
ревут от бессилья,
победные трубы
ревут оттого,
что знают: умолкнут —
и нет ничего,
и песня о нас
позабыва... ужели
ее, как алмаз,
не найдет Руставели?

Как этот нетронутый,
первый снег,
память моя чиста.
По белому снегу шагает
ко мне
Забытого детства мечта.
И я
сам себе не поверить готов,
И я
донять не могу:
Как я прошел,
не оставив следов
На этом чистом снегу?

Знаете что?
Давайте построим ракету,
Ну самую - самую

что ни на есть — преогромную,
а потом соберем и уложим
в нее

со всей планеты
все ваши бомбы, —
начиная с самых маленьких,
нехитрых фугасок
и кончая чудовищами
самыми многомегатонными...
А потом посадите в эту ракету
меня —
я согласен —
я уведу ее
далеко за орбиту плутоновую.
Там я взорву ваши бомбы!
Невиданным фейерверком
вспыхнет пламенный шар —
его с Земли заметит любой...
Пускай хотя бы на миг
засверкает звездой яркой
людям
моя любовь.

Ветер далеких странствий
Ворвался в мое окно,
Ветер далеких странствий,
Опьяняющий, как вино,
Над столом завертелся в танце,
Бумаги разворочил...
Ветер далеких странствий,
Ветер моей души.
Тихо шепнул:
— Бедняга,
Это — насмешка судьбы.
Ты ведь рожден бродягой,
Тебе ли ученым быть?
Ты роешься в древних текстах,
Над словарями корпишь...
А вспомни, как пахнет детство,
Как пахнут травы в степи!..
Где-то, за далью синей,
Льды напозают на льды,
Дышет жаром пустыня,
Жаждающая воды,
Мерно стучат колеса,
Машут деревья вслед...
А все это — так просто:
Надо только
Купить билет...



ЛИСТОК

Этот листок бумаги,
 Лежащий передо мной,
 Родился в горном овраге
 Однажды — ранней весной...
 Он из земли, упрямый,
 Пробился среди травы
 И вытянулся прямо
 К небу, в синюю высь,
 Одетый — с иголочки —

в зелень

И в молодую кору...
 Под ним из темных расселин
 Туман выплывал поутру,
 В ущелье ревел Ингури,
 Седою шкурой тряся,
 И брови от боли нахмутив,
 Сосна содрогалась вся,
 Когда выгрызали жадно
 Плоть ее зубья пилы...
 Она упала в прохладный
 Мох с вершины скалы.
 И волны ее подхватили,
 Качая, с собой понесли...
 Покорная дикой силе,
 Исчезла она вдали.
 Там ждет ее море света,
 Котлы, машины, — но я,
 Нет, я совсем не об этом
 Хотел рассказать друзьям.
 Корой, от заката багровой,
 Осыпалась дней шелуха,
 И вот я встретился снова
 С тобой, стихия стиха...
 Скажи мне, что ты такое,
 Какой тебя дьявол принес,
 Что нет мне ни сна, ни покоя,
 Что нет мне ни смеха, ни слез?
 То жаром, то холодом вея,
 Идешь ты — круша и дробя,
 И я никогда не сумею
 В себе — побороть тебя,
 И я уйду с тобою
 Туда, где песен исток...
 Туда, где Ингури воет,
 Уносит меня
 Листок...

А глаз моих нет на моем лице:
 они далеко - далеко,
 там, где в глубоком,

синем
 кольце
 плывут облака легко,
 там, где вершины гор
 снежны,
 пьют они белый снег...
 Но скоро
 мои глаза должны
 вернуться опять ко мне.
 Они сперва пробегут по полям,
 блеснут в небесах на заре,
 увидят,
 как кареглаза земля,
 умоются в водах рек,
 они почернеют от дыма труб,
 в них ляжет
 серый асфальт...
 А город мой хорош поутру,
 и мне моих глаз
 не жаль!

В детский сад,
 словно в птичник,
 полный пушистых цыплят,
 вошел человек.
 И не был никому знаком он.
 И сразу угомонился
 неугомонный гомон,
 а человек снял корзину,
 висевшую на плече,
 и сгрудившимся в углу
 испуганным детям
 стал раздавать пригоршнями
 шоколадные конфеты...
 Сбежались воспитательницы —
 белые,
 жирные куры
 с круглыми глазами
 и красными клювами,
 вспотевшими от волнения,
 но все попытки его прогнать
 человек
 отклонял хмуро,
 а дети
 уже обнимали его колени...
 Каждую девочку
 он поцеловал в лоб,
 каждого мальчика
 погладил по головке,
 а потом повернулся
 и ушел.

спотыкаясь неловко...

Белые куры
долго еще кудахтали, судача,
долго тарасили
испуганные глаза,
а человек
шагал, улыбаясь,
как будто у него — удача,
и непонятно было, откуда
в пустую корзину
упала слеза.

* * *

Прежде чем глаза закрою,
прежде чем уйду ко сну,
память детства
вновь уводит
душу в свет, в голубизну...
Выплывают из-под арки
трое стройных лебедей,
выплывают, как подарки
для неплачущих детей:
лебедь черный,
лебедь белый,
лебедь сине - голубой, —
непокорный
и несмелый,
а другой — и мой,
и твой...
А у белых лебедей
и у черных лебедей

одинаковые тени —
так же, как и у людей.
Если ж лебедь голубой, —
вот такой, как мы с тобой, —
тень его на стенке сада
тоже будет голубой.
Я хочу,
чтоб это было,
чтобы это
вновь пришло,
я хочу, чтоб ты забыла —
не добро мое,
а зло,
чтоб, когда протянет вечность
руку мне —
когда - нибудь, —
в голубую бесконечность
белой лентой лег мой путь...

* * *

Волны мои
(я — море)
бьются о твой берег...
Звезды мои
(я — небо)
смотрят в твои глаза...
Как же в тебя не поверить?
Всюду, — где был или
не был, —
я вечно с тобою в споре,
чего-то не досказав...

С А Д

Как ты за лето вырос и оброс,
 И смотришь, будто мы одни в ответе
 За то, что был ты одинок, как пес,
 Оставленный на произвол соседей;
 За то, что полдень тени удлинил,
 За то, что день теперь глядит иначе,
 За то, что так бесстрашно у стены
 Расположился выводок кошачий;
 За мутность окон, глухоту дверей,
 Враждебность затаившихся подвалов,
 За то, что дни несутся все быстрее,
 И вот уже и лето миновало;
 За то, что весь июнь ты простоял в цвету,
 Но твой порыв был краток и напрасен,
 За то, что так хотел быть на виду,
 А был глухим забором опоясан.
 Но ты простишь нас, как прощал не раз,
 Уже простил, раз бьешься у порога
 И ждешь, когда за дверью смолкнет лязг,
 Чтоб хлынуть в комнату безудержным потоком.

ПИЛЬЩИКИ

(Подъем Белинского — 50-е годы)

Были деды хищны и коварны,
 Было небо им надежной крышей;
 В ужасе сжимались караваны,
 Дробный топот их коней расслышав.
 Навыком осталось их потомкам —
 Кладь чужую взваливать на плечи
 И взбираться по крутым подъемам,
 Диким криком оглушая встречных.
 Донесут по адресу и снова
 К нам на угол — посидеть на плитах,
 Вынуть четки и на полуслове
 Задремать устало и сердито...
 Но была в году пора, когда в них
 Закипала кровь ретивых дедов,
 Оживала быль преданий давних,
 И в гортани бился клич победы,
 Когда вдруг, объединясь в ватаги,

Ватники напялив как кольчугу,
Шли они, как предки их, в атаку
На непокоренную округу.
Штурмом взяв дворы и подворотни,
Водружали жертвенный треножник,
И гудели в их ладонях потных
Пилы заунывно и тревожно,
И опилки медленно сочились
Из-под зубьев, отмеряя время,
И спешило сдаться им на милость
Теплотой взлелеянное племя.
Уступало... чтоб и в эту зиму
Мир себе надежно обеспечить,
Чтобы снова холодом гонимых
Привечали ласковые печи...
А они, мощну наполнив данью,
Ускользали тихо... осторожно,
Впопыхах, а может, в назиданье
Во дворе оставив нам треножник.

* * *

Старушки из детства... как много вас было —
Забитых и гордых, спесивых и кротких,
Как стоек был запах цветочного мыла
От пальцев сухих на моем подбородке...

В залатанных шляпках из черной соломки,
В накидках, обшитых потертым муаром,
Вы шли одиноко вдоль солнечной кромки
Крутого, враждебного вам тротуара.

Вас вечно тянуло к чужому уюту,
Где каждый собою был только лишь занят,
Платя за него неразменной валютой
Хороших манер... гимназических знаний.

На ваших порогах разбитое «*Salve*»
И стены парадных все так же облезлы...
Врачи и привычки не раз вас спасали,
Так что же случилось, куда вы исчезли?

* * *

Закат, транжира из транжир,
Раззолотил перила,
Повсюду вставил витражи,
Растратив столько пыла,
Что даже нижним этажам
Немножко перепало...
Закату что! Ему не жаль
Ведь у него навалом
Всего. Ему бы жить да жить...
Да вот не тут-то было —

Ночь упразднила витражи
И скинула перила.

* * *

По-детски плакали коты,
А из пустынной подворотни
Тянуло сыростью болотной
И гулким эхом темноты.

Ходили тени ходуном,
Качая тротуар, как сходни,
Быть по-субботному свободным
Сегодня вечеру дано.

И, словно не боясь беды,
Он все часы уже просрочил...
Наверно, трудно будет ночи
Стирать с лица его следы.

* * *

Старый дом, мой запущенный терем,
Затерявшийся в тихой глуши,
Ты вел счет моим дням и потерям,
А теперь ты свое отслужил.

Обживут тебя пришлые люди,
И в преддверии лучших времен,
Повинуясь внезапной причуде,
Срубят мирно дряхлеющий клен.

Ты наполнишься шумом и гамом
Непривычной тебе суеты,
А в саду кто-нибудь сапогами
Наспех вытопчет наши следы.

Но на час еще мой ты по праву —
Льется солнце из синих прорех,
И ложатся на реденький гравий
Листья клена ладонями вверх.

НАВАЖДЕНИЕ

Там, на столе, голландский сыр и кофе,
Вечерний свет задумчив и рассеян,
Там, на стене, точеный женский профиль
Так отчужден и так... самонадеян...

Павлиний глаз — в зеленоватой вазе,
На дверце шкафа, в завитках паркетин,
А на обоях так и не довязан
Узор... теперь уже едва заметен...

В трагическом изломе венских кресел
Застыла грусть ушедших поколений,
Зажжется свет и в сотый раз развесит
На потолке одни и те же тени.

Здесь у вещей потеряны истоки,
Но в их созвучии незыблемом и вещем
Таится чей-то умысел жестокий —
С вещами нам и опыт их завещан.

Вот этот жест! Он вовсе не присущ мне,
Его мне чья-то воля навязала...
«О, боже мой, как этот дом запущен!» —
О, неужели это я сказала!

Чужая боль застыла в горле комом,
Чужая быль — отчетливее, резче...
И с кем-то дальним, с кем-то незнакомым
Мне равенства незримый знак обещан.

И вот уже с далеким побратимом
Нас связывают общий лад и навык:
— «Здесь, как и я, в тоске необратимой,
Забвенья долго ждали у окна вы?»

— «Так вами тоже наизусть изучен
Узор ветвей в эмалевой оправе?»

— «И вам казалось — несколько излучин,
А там уж время берега расправит!?»

— «А вам?..» Не надо, это слишком рано.
Довольно, хватит, больше не желаю
Я бередить в себе чужие раны,
Пока своих еще не нажила я..

Но за предел чужих вещей и судеб
Уже не выйти, сколько бы ни билась,
И с этих пор всему, что есть и будет,
Один припев: все это было.. было..

* * *

Куда-то вдруг уплыли облака,
Как будто смел их невидимка-вихорь,
А за чертою города закат
Достреливал последнюю шутиху.

И, тяжело вонзив в асфальт углы,
Дома, очнувшись от дневного чтива,
Спешат вздремнуть до наступленья мглы,
Касаясь лбами в дальней перспективе.

Не дожидаясь, когда мягкий горб
Подставит ночь, ползущая с повинной,

Вдруг раскололся телеграфный столб,
Присев к стене усталой половиной.



И прозябающий в безвестности подъезд
Шагнул вперед из-за тени акаций,
Метнулся вбок и тотчас же исчез,
Взглянув на нас лишь искоса, с прохладцей.

А мы все шли. Нам было невдомек,
Что умер день, такой живой и яркий,
Ведь все, что было вычислено впрок,
Он без единой выполнил пометки.

Он стал ненужен. Мы простились с ним.
Пусть ночь стекает по беззвучным стеклам,
И запах лип, оставшийся с весны,
Нас обдает чем-то лесным и теплым.

Х О С Т А

Море синело все гуще и гуще,
А небо спускалось все ниже и ниже,
И нам, по пустынному пляжу бредущим,
Слепило глаза от малиновых вспышек.

Казалось, песок никогда не остынет,
Следы затащило в тугие подковы;
Волна, растекаясь в улыбке дельфиньей,
Беззвучно шептала: «Откуда вы, кто вы?»

Дрожала вдали слюдяная завеса,
Густеющей массой стекал по ней город,
На целую вечность нам путь перерезав,
Прополз мимо дамбы замученный скорый.

А следом чуть было не кинулся вереск
И тут же осекся, отпрянул и замер,
А мы еще долго шли, горестно вперясь
В щербатые шпалы слепыми глазами.

* * *

Увидеть бы опять, как от избытка влаги
Взбухает сад, и встав перед дождем,
Исполниться бы вновь непоборимой тяги —
Схлестнуться с ним и раствориться в нем;

Почувствовать ступней прохладу скользкой жижи,
И выводить на ней причудливую вязь,
И любоваться всласть, пока водой не слижет,
Как чудом из чудес, — ногой, обутой в грязь!



Забиться под навес я вздрагивая слушать,
Как вспарывает дождь брезентовую гладь,
Как рокот там, вверху, то яростней, то глуше,
То затихает вдруг, чтоб накатить опять.

А после же вбирать глазами, кожей, нёбом
Густую прель распаренной коры,
И ощущать в себе мучительным ознобом
К грядущим дням безжалостный порыв.

* * *

Рукоплещет мне лес на рассвете —
Вот он, мой долгожданный успех!
Вот и время забыть о завете
И взбежать по ступеням наверх.

Пусть скрипят под ногами ступени,
Как скрипели лет двадцать назад,
Пусть все так же немеют колени,
Закрываются в страхе глаза...

Разомкну я затекшие окна,
И развеется зимний угар;
Паутины густые волокна
Разбредутся по дальним углам.

Вверх взметнется пятнистое утро
И разляжется тихо у ног,
Прошлых лет череду поминутно
Пробегу как забытый урок.

Стану разом мудрей и моложе,
Пусть себе время мчится, летит, —
Мне бы эту минуту помножить
На все то, что еще впереди.



ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

«Уважаемая редакция!

37 лет назад, 22 сентября 1943 года, при освобождении города Запорожье от фашистской оккупации смертью храбрых пал мой однополчанин Саджая Тарас Павлович. А 25 декабря 1980 года его сыну Роину был вручен отцовский орден Отечественной войны. Тарас был героем — он истребил 242 фашиста. По существу он является национальным героем Грузии. Вручение ордена сыну героя, матросу батумского колхоза «Красный рыбак», явилось первой ласточкой прославления его подвигов.

Я написал очерк «Снайпер из Колхиды» — о Тарасе — коммунисте, воине, человеке, герое. Думаю, что в год 40-летия начала борьбы советского народа с гитлеровским нашествием этот очерк послужит превосходным материалом для размышлений о патриотизме.

С уважением Т. Митряшкин,

ветеран бывшей 50-й Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, Запорожской, Кировоградской стрелковой дивизии, член Литературного объединения военных писателей».

Это одно из большого потока подобных писем, поступающих в редакцию, в которых люди стремятся, пользуясь той или иной датой, каждой возможностью поделиться воспоминаниями о фронтовых друзьях, о разделенных с ними тяжелых боевых буднях. Потребность в этом необычайно велика — за перо берутся и те, кто мастерски владеет им, и те, кто просто чувствует необходимость сказать о людях, скромно, но ежедневно совершавших настоящий подвиг, спасая сотни тысяч жизней под бомбежками и после страшнейших боев, зачастую во имя этого жертвуя своей собственной.

«Я — бывший комиссар госпиталя № 746, прошедшего славный боевой путь от Кавказа до столицы Австрии Вены, — пишет в редакцию подполковник в отставке Кикалишвили Владимир Дмитриевич, — по своему воинскому долгу написал статью, поскольку о славных делах медиков нашего госпиталя за 36 лет после победы еще никто не узнал, а это, я считаю, непременно должно стать достоянием молодого поколения».

И редакция сочла необходимым опубликовать эти скупые строки отчета о работе фронтового госпиталя за годы войны, не упустив ни одной фамилии, о чем настоятельно просил ее автор.

Идет в редакцию поток писем о том, как сражались на фронте наши земляки, совершали подвиги, иные погибали, другие возвращались домой, к мирной жизни.

«Я педагог и литературный следопыт, — пишет Александр Цитрон из Херсона, — посылаю вам материал о чудесном грузине, который живет в нашем городе».

Это заметка о «Тенгизе Татиури с Невского пяточка», которую мы тоже включаем в подборку, посвященную 40-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Тимофей МИТРАШКИН

СНАЙПЕР ИЗ КОЛХИДЫ

Гроза фашистов

Он шагал по мокрой тропинке под Можайском и думал, как отнесется к нему этот, ставший уже знаменитостью, Коля Галушкин. Не вернет ли обратно в батальон? О, это было бы невыносимым позором. Ведь он так просил комбата Пальгунова отпустить его в «школу Галушкина».

Народу в полку — не одна тысяча, знать всех каждому солдату, конечно, невозможно, а вот Галушкина знали, слава его перешагнула полковые позиции, и стал он знаменитостью на всю дивизию. Да что там дивизию, на всю армию. Говорили, что Галушкин дерзок с врагом, отважен и неуязвим в бою. Гроза фашистов! А вот он ни разу не видел его. И не то что робел перед ним — сам был не из робкого десятка, а вот какую-то неуверенность чувствовал.

Он предстал перед Галушкиным. Предстал и удивился: «гроза фашистов» оказался худеньким пареньком с сержантскими треугольничками на петлицах. Ничего выдающегося! Как тысячи других сержантов.

А к Галушкину тянулись «ученики» — это батальоны выполняли распоряжение самого генерала. Разные они были, эти ученики, — молодые и в возрасте, веселые и угрюмые, расторопные и увални.

Галушкин посмотрел на него.

— Ты кто? — спросил он с напускной строгостью.

— Красноармеец Тарас Павлович Саджая... Хочу стать снайпером, — с заметным грузинским акцентом ответил Тарас.

— Снайпером — хорошо. А кем сейчас служишь?

— Я? — Тарас замялся, покрутил головой.

— Чего крутишься? Отвечай! Снайпер должен быть смелым, находчивым, выносливым, терпеливым.

— Я — сын Кавказа и еще никогда не встречал трусливого кавказца, — разгорячился Тарас. — Вот Кето Модебадзе — грузинская девушка — добровольно пошла на фронт и стала

разведчицей. Про себя скажу: вынослив я, как горный мул, терпелив, как черепаха. А службу я... поваром.



— Поваром? — протянул удивленно Галушкин и улыбнулся.

— Поваром. А что? — спросил с вызовом Тарас. — Повар — самая нужная должность в армии, потому что голодный солдат — не солдат, для победы нужны силы.

— А ты, оказывается, еще и «философ». Проверим, на что способен «храбрый, выносливый, терпеливый сын Кавказа», — дружелюбно улыбнулся Галушкин и этим сразу развеял неуверенность Тараса.

И начались занятия: изучение материальной части оружия, выбор и маскировка позиций, ориентирование на местности, ползание по-пластунски, борьба самбо, рытье окопов, владение штыком, кинжалом, ножом, голодовка и многое другое, чем достигаются находчивость и терпеливость, так нужные снайперу.

— Когда же пойдем «на охоту», бить фашистов, товарищ сержант? — спрашивал уставший от занятий Тарас.

«Охота» — это придумали фронтовики-острословы. На самом деле труд снайпера очень тяжел и опасен: каждый раз надо готовить новую позицию, рыть окоп, маскировать его и часами лежать неподвижно в ожидании удобного момента для стрельбы по врагу.

— Как только подготовишься, — добродушно отвечал Галушкин.

— Да я давно готов. Созрел, как виноград, — убеждал Тарас.

— Виноград — штука сладкая, нежная, любит теплые края, а снайперу и в подмосковном снегу приходится сутками лежать. Мы под Можайском, а не в Аджарии, надо как следует подготовиться, — наставлял Галушкин.

В первый же выход на позиции Тарас уложил двух фашистов. Галушкин объявил ему благодарность и взял своим напарником. Они стали вместе выходить «на охоту».

За короткое время Тарас вместе с другими учениками Галушкина, которых набралось уже десятка два, истребил свыше сотни фашистов.

Единоборство

Дивизия сражалась за Северским Донцом, на Юго-Западном фронте. Оккупанты повели атаки. Снайперы Саджая и Галушкин находились в крайнем доме в деревне Татьянавка.

Прибежал связной. Хотя снайперы формально числились в первом батальоне, командир полка Харламов и замполит Муриев сами опекали снайперскую группу.

— Товарищ лейтенант, — Галушкина в прошлую зиму аттестовали сначала на младшего лейтенанта, а затем и на лейтенанта, — майор Харламов приказал оставаться на месте и действовать по обстановке. Главное — фланг полка, — передал запыхавшийся связной.

— Группа добровольцев во главе с лейтенантом пересекла линию фронта и углубилась в тыл фашистских войск. Вооруженное задание группа выполнила, а вернуться к своим сразу же не смогла, пришлось «погулять» во вражеском тылу.

Продукты кончились, «подножный корм» укрыв снег, землю сковал мороз. Решили «поохотиться» на фашистских тыловиков, на лесной опушке устроили засаду. Увидели одиночную подводку, подумали, что везет продовольствие. Фашист начал отстреливаться. С ним быстро покончили, но в телеге оказалось обмундирование. В перестрелке погибла и лошадь.

— Саджая, ты грузин? — спросил лейтенант.

— Грузин, — ответил Тарас.

— Шашлык умеешь готовить?

— Какой грузин не умеет готовить шашлык?

— Режь конину! Углубимся в лес — приготовишь шашлыки.

Конину разрубили, набили пару вешешков и — в лесную чашу. Телегу с барахлом перед уходом подожгли.

В лесной глухомани нашли глубокий овраг, быстро соорудили мангал, и Тарас превратил конину в шашлыки. Товарищи ели и нахваливали:

— А мы и не знали, что Саджая мастер кулинарного дела!

Когда вернулись к своим, в батальоне погиб повар. Лейтенант доложил комбату, что в его группе есть отличный кулинар. Так Тарас Саджая стал батальонным поваром...

— До призыва в армию я работал экономистом в Аджарии, кулинарное дело познавал сначала с помощью мамы, а потом — моей жены Маргариты, — закончил рассказ Тарас. — А мама моя была первоклассным кулинаром! — продолжал он. — Какое она готовила чахохбили из потрохов, сациви из кур, хинкали, хачапури, гоми, сулгуни!

— А чем батальон кормил? — облизываясь, спросил Галушкин.

— Чем, чем!.. Известно — щи да каша... — засмеялся Тарас.

Рейд

За Северским Донцом фашисты вели себя нагло: ходили в открытую, по вечерам играли на губных гармониках, горланили песни. Ну, как у себя дома! Занимали они высокий правый берег реки, все вокруг обозревали и контролировали. А наши войска были в низине, на левой стороне реки.

— Как там поживают наши снайперы? Не скучно им? — как-то спросил Лебеденко у майора Харламова.

— Хорошо поживают, товарищ генерал, совершенствуют снайперское искусство, учат молодежь, ходят «на охоту». — доложил Харламов.

— Прикажи-ка им совершить групповой рейд в район Сидорово. Пусть Галушкин возьмет человек пять-шесть своих учеников и, как говорится, с богом. А то фашистам больно весело. Обнаглели.

Конечно, можно было бы и на Сидорово совершить артиллерийский налет, но генерал не хотел разрушать дома, губить сады, а снаряды берег для предстоящего наступления.

Саджая и Галушкин изучили местность и ночью с тремя парами снайперов вышли на «нейтральную» полосу. Окопались. Замаскировались. Ждут. Начало светать, а в Сидорово все спокойно. Вдруг загудел мотор.

— Автомобиль катит, — шепнул Тарас.

— Нет, мотоцикл. Слышишь, как тарыхтит? — погравил Николай.

Подъехав к добротному дому, фашист соскочил с сиденья, заглушил мотор, огляделся. И тут Галушкин сразил его.

Другой гитлеровец вышел из дома, подошел к мотоциклу.

— Это твой, — сказал Николай.

— Знаю, — ответил Тарас, и фашист свалился от его пули.

За третьим домом виднелась конюшня. Двое оккупантов открыли ворота, вывели коней, начали седлать.

— Тарас, левого, — сказал Галушкин.

Оба они выстрелили почти одновременно, фашисты упали.

Наступила тишина.

— Тарас, давай по крыше зажигательной пулей, а ты, Петр, по складу.

Петр Шаля — новичок в отряде, родом он местный, хорошо знает окрестности, но на задании еще не был, поэтому Галушкин дал ему привыкнуть к обстановке.

Два выстрела, и высушенные солнцем и ветрами соломенные крыши вспыхнули сразу. Огонь быстро распространялся. Фашисты выбегали из домов, одни кидались к конюшне спасать лошадей, другие — к складу, тащили из него ящики и относили в сторону. Снайперы делали свое дело: за короткое время уложили более сорока оккупантов. Из них: Галушкин — двенадцать, Саджая — десять...

Лебеденко и Харламов каждый со своего капе наблюдали за действиями снайперов. А вечером группе была объявлена благодарность командования.

Оккупанты зарылись в землю. На передовой стало свободнее дышать.

Фото

Саджая и Галушкин квартировали у бабки Агафьи, она называла их «диты мои». Каждый раз, когда снайперы возвращались с «охоты», бабка поила их молоком и угощала горячей картошкой.

— Иишты, ништы, диты мои, — говорила бабка и счастливыми глазами смотрела, как они расправлялись с ее угощением. Хоть «диты» никогда не говорили ей о том, что идут на задание, но бабка переживала за них, ждала и счастливо улыбалась, когда они возвращались невредимыми.



Однажды, когда бабка сидела напротив снайперов и говорила свое: «Ништы, ништы, диты мои», Тарас сказал:

— Какие мы дети, бабуся? Мы — отцы, у Николая есть сын Валерик, у меня — Роин.

Он вынул из блокнота фотокарточку, протянул ее бабке. С фото вопросительно смотрело миловидное женское лицо рядом с лобастым, улыбающимся во весь рот малышом.

— Это моя жена, Маргарита Сабаевна Габуния, а теперь Саджая. А малыш — мой сын, Роин.

— Гарная жинка, очатая, — сказала бабка, с радостной улыбкой глядя на фото. — А Роин як буде по-нашему?

— Роин — грузинское имя, не переводится.

— А это вот моя Надюша с Валериком, — сказал Николай, протягивая бабке фотокарточку, с которой тоже смотрели женщина и улыбающийся малыш.

— О, яка гарна жинка! — воскликнула бабка. Она подержала в руках фото и вернула. — Ништы, хлопцы, ништы.

— Эх, Никола, мало мы с Маргаритой вместе прожили, — сказал с горечью Тарас. — А сына я видел только один раз: перед войной, когда он родился, мне отпуск дали — я уже был в армии. Так веришь — семь километров я нес его на руках!.. Понимаешь, Никола, какое это счастье нести на руках собственного сына! Какие мысли при этом рождаются?.. Сын — не только продолжатель рода, надежда и опора в старости — это очень важно, но не главное. Главное в том, что сын — это единомышленник, продолжатель твоего дела, вершитель твоих идей, если ты сам не успеешь завершить их. Вот что такое сын!

— Ничего, Тарас, разобьем фашистов и вернемся к своим Маргаритам и Надеждам, Роинам и Валерикам, — сказал Галушкин. — Я тоже своих уже два года не видал. Соскучился по ним!

— Ты два года, а я уже четвертый. Подумать только — четвертый год не видеть жену, не приласкать ее, не видеть сына, не подбросить его к потолку! С ума можно сойти! Как ты думаешь, Никола, какая будет жизнь наших сыновей лет через двадцать, а? — задумчиво спросил Тарас. — Наверное, на земле наступит длительный мир. И никаких окопов, снарядов, бомбежек, снайперов, а? Хорошо будет жить нашим сыновьям! Приезжай со своим сыном и Надей к нам, всю Аджарию покажу, такой пир устроим, море запляшет.

Мечта

Однажды ночью Саджая и Галушкин вырыли ямки-колдцы над самым Донцом, выкупались, смыли грязь и пот.

— Понимаешь, в Чорохе купался, в Риони купался, в Куре, Арагви. В Черном море рыбу ловил. Днепра не видел. Какой он, Днепр? — мечтает вслух Саджая.

— Не только в Днепре, мы еще выкупаемся в Днестре, Висле, Эльбе, — ответил Галушкин.

— Хорошо бы дойти до Эльбы!..

Танк

17 июля 1943 года войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. Дивизия форсировала Северный Донец, прорвала вражескую оборону и погнала фашистов.

Из района Славянска оккупанты повели сильную контратаку с танками и даже кое-где потеснили наступающих.

Пришлось залечь. С тыла появился танк. Но странно: пехотинцы ждали много танков, а тут только один.

— Это же фашистский!.. На нем черные кресты нарисованы! — закричали солдаты и начали наводить на него противотанковое ружье.

— Никола, зачем танк подбивать? Давай возьмем его так, — сказал Тарас. — Пригодится.

— Давай, — Галушкин усмехнулся и сказал командиру роты Кожемякину:

— Вася, не надо подбивать танк. Идет он без сопровождения пехоты, не опасен. Его надо взять целым и невредимым.

— Как?! Это же танк, а не кролик! — возразил Кожемякин.

— Как, Тарас, махнем? — сказал Галушкин. Был он спортсменом, прыгал, бегал, ходил на лыжах, переплывал Вятку.

— Махнем, Никола, — поддержал его Саджая.

Галушкин и Саджая побежали наперерез танку. Лейтенант с ходу прыгнул на броню, снял плащ-палатку и закрыл ею смотровую щель. Танк рванулся так, что Галушкин чуть не слетел с брони, но остановился. Галушкин открыл щель. Танк снова двинулся. Николай опять закрыл. Танк остановился.

Саджая забрался на броню и постучал по крыше люка прикладом винтовки, давая понять, что танк пленен. Тогда открылся люк и из него полетели автоматы, потом высунулись поднятые кверху руки.

— Вот так-то, господа фашисты, гут-гут, — сказали снайперы, показывая автоматами, что надо выходить.

Вскоре они рапортовали замполиту полка Муриеву: исправный фашистский танк и четыре пленных танкиста доставлены в ваше распоряжение.

Эта весть облетела всю дивизию: «Снайперы пленили фашистский танк с экипажем!»

При допросе пленных выяснилось, что во время контратаки врага из Славянска заглох мотор танка, экипаж с места расстрелял весь боезапас, а потом устранил неисправность и повернул в свой тыл для заправки, не зная о том, что здесь уже были советские войска.



Саджая, Галушкин и Саша Бабенков при наступлении находились на фланге, обеспечивали безопасность офицеров, связных и связистов. Все шло нормально. 1-й батальон продвигался вперед, отвоевывая у врага временно оккупированную советскую землю. Уже пройдено километров пятнадцать. И вдруг — контратака. Батальон залег и вступил в неравный бой. Все надеялись на помощь второго эшелона, идущего сзади, на поддержку своих танков, на силу и меткость оружия. Дрались, не думая оставлять отвоеванные рубежи. Целей не надо было искать — их было полно, и снайперы стреляли наравне с рядовыми пехотинцами; стволы их винтовок нагрелись так, что до них нельзя было дотронуться.

Бабенков охнул, и винтовка выпала из его рук. Перестал стрелять и Саджая.

— Ты что притих, Тарас? — крикнул Галушкин.

— Меня ранило. Хочу рану перевязать. И Сашку тоже.

Галушкин подполз к Саджая, перевязал ему рану, потом — и Бабенкову. Предложил обоим покинуть поле боя.

— Нет, Никола, я не оставлю тебя одного, погибать так вместе, — возразил Тарас.

Бабенков поддержал Саджая.

— Вы что, друзья, забыли? Напоминаю: дисциплина — мать победы. Приказываю обоим отправиться в медпункт, — сказал жестко Галушкин. Потом тихонько добавил: — Скажите там, в тылу, пусть скорее двигают второй эшелон.

Тарас не знал, что позднее Галушкин был тоже ранен в живот, в руку и ногу.

Из госпиталя Саджая вернулся раньше Галушкина, и комбат Дмитрий Рыбин сказал:

— Поздравляю, Тарас Павлович, с выздоровлением и награждением орденом Отечественной войны.

— Служу Советскому Союзу, — ответил растроганный Тарас.

— Какой у тебя счет истребленных фашистов? — поинтересовался комбат.

— До ранения было двести сорок два, — сказал Саджая.

— Ого, больше роты! — щелкнул пальцами Рыбин. — Доведешь до трехсот — представим к званию Героя Советского Союза.

— Спасибо, товарищ комбат. Генерал Лебедеenko говорил, что Галушкина представили, у него счет уже перевалил за триста.

— Догонишь! Пустяки остались. А пока прими командование снайперами. Командир дивизии присвоил тебе воинское звание старшины. Еще раз поздравляю.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант, за поздравление, за доверие.

Почему бы не покомандовать снайперами! Тарас дело знает, многому научился у Галушкина да и вообще у жизни, стал коммунистом, а теперь и старшиной. Ежели придется, наверняка он и батальоном сможет командовать.

Шутка ли — пять лет в армии, третий год на фронте, а он ведь — экономист, целым предприятием до армии командовал.

Дивизия наступала на Запорожье. Враг жестоко сопротивлялся, построил мощную оборону, вырыл противотанковый ров — не ров, настоящий канал шириной и глубиной до пяти-семи метров.

Комбат Рыбин приказал Саджая выдвинуть вперед снайперов, чтобы обеспечить безопасность командных и наблюдательных пунктов.

Времени для выбора и оборудования надежных позиций не было. Тарас Павлович Саджая попал под огонь врага...

Не довелось ему осуществить заветную мечту — искупаться в Днепре!..

А случилось это 22 сентября 1943 года у деревни Шевченко под Запорожьем...

Владимир КИКАЛИШВИЛИ

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ ГОСПИТАЛЯ № 746

Воспоминания комиссара госпиталя

23 июня 1941 года Военный совет ЗаКВО отдал приказ о формировании хирургического полевого подвижного госпиталя № 746. Начальником госпиталя был назначен военврач 2-го ранга Л. Арутюнян, комиссаром — старший политрук Хрчан. Формирование госпиталя было закончено в течение месяца, и он вошел в состав 44-й армии.


26 декабря 1941 года войска Закавказского фронта совместно с Военно-морскими силами Черноморского флота начали крупную операцию — высадку войск на Крымском полуострове, захваченном фашистами. В этой боевой операции совместно с войсками Закавказского фронта, в составе 44-й армии, которой командовал генерал А. Первушин, принимал участие также и наш госпиталь.

30 декабря советские десантные войска с боем овладели городами Керчь и Феодосия и, разгромив немецких захватчиков, стали успешно продвигаться вперед.

В эти тяжелые дни боев медики нашего госпиталя развернули работу по оказанию медицинской помощи раненым воинам под Новороссийском и Феодосией.

Наши хирурги и медсестры работали под бомбежками и ружейно-пулеметными обстрелами, ни на минуту не отходя от операционного стола, спасая жизнь раненых.

В эти боевые дни особо отличились начальник госпиталя военврач 2-го ранга Л. Арутюнян, начальники: 1-го хирургического отделения — ведущий хирург военврач 2-го ранга Толчинский, 2-го хирургического отделения (хирург) военврач 2-го ранга Г. Казарян, 3-го хирургического отделения военврач 3-го ранга И. Гоголадзе, терапевтического отделе-



ния (терапевт) военврач 3-го ранга Г. Агаджанян, а также военврач 2-го ранга (хирург) К. Шилин, комиссар госпиталя старший политрук Хрчан, политрук Поинесян, старшие медсестры Л. Либеровская, Г. Багдасарян, В. Маркарян, медсестры А. Трофимова Н. Котова, Т. Курлова, Н. Щипилова, бойцы-санитары Аракелян, Саакян, Папанекян, Мкртычян, Захарян, Эмерзян.

В марте 1942 года наш полевой госпиталь был перестроен в армейский госпиталь легкораненых по штату на тысячу мест, сохранив свой № 746. В апреле 1942 года начальником госпиталя был назначен военврач 3-го ранга Нестеренко, а комиссаром — батальонный комиссар В. Кикашвили.

7 мая 1942 года немецкие захватчики начали общее наступление против наших войск на Керченском полуострове. В этот день немецкая авиация сделала налет на 2-е хирургическое отделение, расположенное в селе Марфовка. В результате прямого попадания бомб прочное кирпичное здание 2-го отделения было полностью разрушено. Тяжело был ранен санитар Петросян. Легкораненые военврач 3-го ранга Косовская, старшая медсестра Багдасарян и санитар Вартапетян, контуженный начальник 2-го хирургического отделения военврач 2-го ранга Г. Казарян перешли в перевязочную 1-го хирургического отделения и продолжали там оказывать помощь раненым войнам.

8 и 9 мая госпиталь неоднократно подвергался жестокой бомбежке, в результате которой были выведены из строя оперативно-перевязочные блоки всех отделений, а также подсобные помещения, в том числе сортировочная и штаб. Тогда там были ранены медсестры В. Маркарян, Н. Щипилова, М. Зиновьева, а также несколько воинов — вторично. Днем 8 мая над самым нашим госпиталем в селе Марфовка произошел воздушный бой, в результате которого было сбито много бомбардировщиков и истребителей с обеих сторон, а также были разрушены все помещения госпиталя. Пришлось раненых устроить в крестьянских хатах, что крайне усложняло уход за ними. В условиях боевой обстановки, находясь на переднем крае, весь личный состав госпиталя оказывал непосредственно под огнем противника помощь раненым.


9 мая вечером в западной части Марфовки, в двух километрах от госпиталя, противником был высажен воздушный десант, захвативший наш аэродром и создавший тем самым большую угрозу для нашего госпиталя. Мы тогда использовали свой небольшой транспорт для эвакуации тяжелораненых в г. Керчь под руководством лейтенанта м/с Поливианного и медсестер Л. Веденецкой и Д. Буцевой. Однако в начале эвакуации разрывом бомбы медсестра Веденецкая была тяжело ранена в ногу. В госпиталь, и без того переполненный тяжелоранеными, в темноте и под проливным дождем продолжали непрерывно поступать новые партии тяжелораненых воинов. У нас не хватало ни транспорта, ни бензина. Местное население эвакуировалось ночью, и в селении никого не оста-

лось. Шоссейная дорога, проходящая из Феодосии через Марфовку на Керчь, была занята немцами.

Для быстрой ликвидации создавшегося положения эвакуацией раненых командованием госпиталя была назначена группа ответственных товарищей. В ее состав вошли: В. Кикалишвили (руководитель эвакуации), военврач 3-го ранга Чолокян (руководитель по медицинской части); старший политрук Скрипников, политруки Зульфитаров, Султанов, санитарструктор Гавашелишвили, военврач 3-го ранга Мегрелишвили С., капитан П. Голубин, ст. лейтенант Вартапетян Е., медсестра Беженцева, старшина А. Шкробата, рядовые бойцы Ефремян, Родионов, Кохан, Торадзе, Бердзенидзе, Пушкарь. Быстро, не теряя времени, мы в первую очередь начали переносить тяжелораненых воинов на руках с западной на восточную часть в складские помещения колхоза, как более безопасные и удобные места для дальнейшей эвакуации. В эти тяжелые минуты в госпитале соблюдались маскировка, тишина, выдержка и твердая дисциплина. В госпитале все как один были проникнуты чувством долга и несмотря на смертельную опасность принимали необходимые меры для спасения раненых воинов. Многие из них, зная о зверствах фашистов с ранеными, очень боялись очутиться в плену. Мы их уверяли в том, что все они будут отправлены в тыл. Одновременно ночью нам удалось задержать на разных перекрестках дорог проезжающие автомашины и подводы с лошадьми местного населения. Вскоре с их помощью почти все тяжелораненые были отправлены в Керчь.

10 мая в 13 часов немцы высадили крупный воздушный десант парашютистов в южной части с. Марфовки. Работники госпиталя продолжали борьбу за спасение жизни поступающих раненых воинов. Вечером в восточной части села разгорелась рукопашная схватка между нашими отходящими частями и противником. Немецкие стервятники на бреющем полете обстреливали наши войска. Несмотря на смертельную опасность, врачебный и обслуживающий персонал госпиталя выдержал суровое испытание. Они работали с наивысшим напряжением сил, и к утру 11 мая все раненые были эвакуированы из района Марфовки.

11 мая госпиталь № 746 разместился в совхозе Марненталь Керченского района. Здесь также пришлось работать в условиях непрерывных бомбежек и обстрелов. Однако наши медики будто не замечали рвущихся снарядов и бомб рядом с отделениями госпиталя. Особенно смело действовал начальник 3-го хирургического отделения военврач 2-го ранга хирург Гоголадзе И. Он в течение многих часов без перерыва оказывал медицинскую помощь всем поступавшим раненым воинам и немедленно организовывал их отправку в тыл. С 16 по 17 мая весь состав 746-го госпиталя с ранеными и больными прибыл в Керчь и разместился на окраине у завода имени Войкова, откуда пароходом все были эвакуированы на противоположный берег Таманского полуострова. Немцы открыли по пароходу с берега сильный артиллерийский и минометный огонь. В результате обстрела пароход был про-



бит в 24-х местах и на нем вспыхнул пожар. В трюмной палате отхода хлынула вода, и он стал тонуть. Капитан парохода тяжело ранен, но не оставил свой боевой пост, ему на месте была оказана медицинская помощь. На пароходе были убитые и раненые. В результате героических усилий команды парохода и личного состава госпиталя пожар вскоре был ликвидирован, а пробоины заделаны подсобными средствами. Во время следования через пролив нас неоднократно бомбили немецкие стервятники, но попадений не было. Переправа на таманский берег к вечеру 17 мая закончилась сравнительно благополучно.

В эти горячие дни исключительно храбро действовали капитан П. Голубин, старшие лейтенанты Картвелишвили, Федин, Хехнов, Харченко (парторг), бойцы А. Мкртычян, Мачавариани и Эмерзян.

18 мая 1942 г. к нам прибыл член Военного совета 44-й армии — бригадный комиссар Ткаченко. Он собрал весь личный состав госпиталя, одобрил его героическую работу и от имени Военного совета 44-й армии объявил благодарность всему личному составу. В дни отхода наших войск большую помощь по эвакуации раненых нам оказывали член Военного совета 44-й армии бригадный комиссар Ткаченко, комиссар управления тыла полковой комиссар Королев и начальник политотдела тыла старший батальонный комиссар Коваль. В августе 1942 года наш госпиталь из 44-й армии был переведен в состав 46-й армии.


В этой армии госпиталь № 746 находился на месте боев на перевалах Главного Кавказского хребта.

Госпиталь часто бывал перегружен ранеными и работал исключительно напряженно.

Тогда же госпиталь выделил часть медицинского персонала для организации перевязочного пункта на перевале в сел. Бечо. Эта группа во главе со старшим лейтенантом медицинской службы Б. Чернышевым, медсестрой Лысенко и двумя санитарями в очень трудных метеорологических условиях работала в 242-й горнострелковой дивизии, которая вела бои с противником в горах. В то время группа пропустила через перевязочный пункт около тысячи раненых и обмороженных бойцов. За хорошо поставленную работу эта группа получила благодарность от командования 242-й горнострелковой дивизии.

В сентябре 1942 года госпиталь был передислоцирован в город Зугдиди. Начальником госпиталя был назначен военврач 2-го ранга Д. И. Арьков, а ведущим хирургом военврач 3-го ранга, кандидат медицинских наук В. К. Кверенчиладзе.

За период работы с сентября по декабрь 1942 г. госпиталем было принято 900 раненых бойцов и выписано обратно в части до 500 человек. В январе 1943 года госпиталь передислоцировался в город Сочи. За короткое время там было принято на лечение 1200 человек, из которых 300 бойцов возвратились в части, а 900 эвакуированы в другие тыловые госпитали. С марта 1943 года госпиталь № 746 вновь


16.03.2020
82-111033

следовал за нашими наступавшими войсками в составе 46-й армии.

12 апреля 1943 года эшелоны госпиталя, находившегося в вагонах на подступах к железнодорожной станции Тихорецкой, подверглись бомбежке. Был уничтожен наш паровоз и повреждены многие вагоны. Во время налета с воздуха было ранено 8 человек, из которых 4 человека медицинского персонала и 4 из раненых — вторично. Всем раненым войнам врачами госпиталя быстро была оказана медицинская помощь. Операции тогда производились под огнем неприятеля. Особо отличились главный хирург 46-й армии майор медицинской службы Г. Инасаридзе, капитан медицинской службы В. Кверенчхладзе и майор медицинской службы К. Шилин; старшие медицинские сестры: Совескул Т., Ноздрякова В., Трубочанинова М.; медицинские сестры: Кудинова Т., Маляр К., Капитан Н.

В августе 1943 года в период наступательных боев 46-й армии на Украине госпиталь обслуживал большое количество раненых. Вместо тысячи раненых по штату нам пришлось обслуживать более трех с половиной тысяч, главным образом непрофильных тяжелораненых.

По инициативе начальника госпиталя подполковника м/с Д. Арькова дополнительно было организовано 4-е хирургическое отделение под руководством капитана медицинской службы А. Голубева и политрука Василевского.

Большие организаторские способности и инициативу проявил наш ведущий хирург кандидат медицинских наук В. Кверенчхладзе. Он сконструировал операционный стол из подручных лесоматериалов и организовал дополнительно работу 4-х врачей на этом операционном столе. Люди в белых халатах работали без усталости, дни и ночи без сна. В боевых операциях на Украине особенно отличились капитан медицинской службы А. Яковлева, майор медицинской службы Г. Чолокян, капитан м/с Сонькина, старший лейтенант медицинской службы Трохименко М., капитан медицинской службы А. Золова, старший лейтенант медицинской службы Пахомова В., Долгощева М. и др., старшие медсестры М. Трубочанинова, В. Ноздрякова, Т. Совескул, А. Ключникова и медсестры Т. Кудинова, К. Маляр, Т. Лищенко, Г. Ткаченко, А. Турова, Н. Капитан.

Отличились в боях также следующие работники нашего госпиталя: помощник начальника госпиталя по материально-техническому обеспечению старший лейтенант Г. Ткаченко, начальник ОВС — капитан П. Голубин, начальник ПФС капитан В. Поляков и старший лейтенант В. Велигура. Эти командиры-хозяйственники в тяжелых условиях обеспечивали раненых питанием и одеждой.

Храбро действовали и строевые командиры: помощник начальника госпиталя по строевой части капитан И. Цыганков, помощник по строевой части начальника 2-го хирургического отделения старший лейтенант Н. Шаповалов. Они обеспечивали своевременную эвакуацию раненых в тыл.

Необходимо отметить и огромную политическую и военно-патриотическую работу среди раненых пропагандиста 1-го хирургического отделения капитана С. Нестеренко, пропагандиста 3-го хирургического отделения старшего лейтенанта В. Щербина, инспектора-методиста по лечебной физкультуре — старшего лейтенанта медицинской службы В. Худжадзе.

Особенно большую помощь оказывал нам член Военного совета 46-й армии полковник Н. Кальченко.

В декабре 1943 года многие работники госпиталя были награждены орденами и медалями Советского Союза, в том числе начальник госпиталя подполковник медицинской службы Д. Арьков, заместитель начальника медицинской части майор медицинской службы Кверенчхиладзе, В. Д. Кикалишвили и другие.

Наш госпиталь № 746 двигался за наступавшими дивизиями и частями 46-й армии.

Наши командиры и солдаты высоко оценивали самоотверженный труд наших медиков и часто писали нам благодарственные письма.

Командир 1-го Гвардейского мехкорпуса гвардии генерал-лейтенант И. Н. Руссиянов писал: «Дорогие товарищи врачи, фельдшеры, медсестры и санитары госпиталя № 746!

Советская медицина в Отечественной войне показала самоотверженную работу по спасению жизни раненых. Многие тысячи жизней воинов Советской Армии были вырваны из рук смерти благодаря самоотверженному труду медиков вашего госпиталя».

За весь период Великой Отечественной войны нашим госпиталем было принято свыше 47 тысяч раненых и оолных, из которых возвращено в строй более 75 процентов — целые дивизии обученных воинов влились в действующие армии. Кроме того, госпиталь играл роль и кузницы специалистов, в которых нуждался фронт.

По решению Военного совета армии в госпитале функционировали курсы парторгов, комсоргов и агитаторов. После их прохождения выздоравливающие бойцы направлялись на соответствующие должности в войска. В госпитале среди выздоравливающих проводились плановые занятия по боевой и политической подготовке.

В результате плодотворной учебы подготовлено и направлено в боевые части армии 8055 снайперов, 2075 пулеметчиков, 2025 минометчиков и 2100 автоматчиков.

Таким образом, этот своеобразный госпиталь особого типа был не только лечебницей, но и ближайшим резервом в деле пополнения армии обученными и хорошо подготовленными военными специалистами.

За образцовое выполнение боевых заданий в период Великой Отечественной войны многие работники госпиталя № 746 были награждены орденами и медалями.


Бывшие работники госпиталя давно демобилизовались и успешно работают в гражданских учреждениях. Среди них —

полковник медицинской службы в отставке Д. Арьков принимал активное участие в партийно-политической и общественной работе, подполковник медицинской службы в отставке профессор В. Кверенчиладзе, заслуженный деятель науки, работает по своей специальности во 2-й городской больнице г. Тбилиси, Г. Чолокян ушел на пенсию и одновременно работает по своей специальности в г. Гагра, отмечен как «Отличник здравоохранения», доктор медицинских наук профессор Г. Агаджанян долгие годы работал в Научно-исследовательском институте курортологии и физических методов лечения, С. Мегрелишвили работал в протезном отделении республиканской стоматологической клиники, И. Гоголадзе является ведущим хирургом в Чохатаурской городской больнице, медсестра Л. Либеровская долгие годы работала рентгенологом, награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», отмечена как «Отличник здравоохранения» и награждена Почетной грамотой Верховного Совета Армянской ССР.

Александр ЦИТРОН

ТЕНГИЗ ТАТИУРИ С НЕВСКОГО ПЯТАЧКА

«Дорогому Тенгизу Васильевичу Татиури, защитнику Ленинграда в тяжелейшие годы блокады, прошедшему славный боевой путь, четырежды раненому, доблестному воину, — с глубоким уважением и сердечным приветом. П. Лукницкий. Москва, 26.III.72 г.» Книгу «Ленинград действует» с таким автографом мне посчастливилось увидеть у самого Т. В. Татиури. В другой книге Павла Лукницкого «По дымному следу» есть немало строк, непосредственно посвященных Тенгизу Татиури: «А недавно случай — верный помощник ищущих — привел меня еще к одной драгоценной встрече, — пишет П. Лукницкий. — Редакция газеты «Известия» переслала полученное для меня письмо, за которым последовало и мое знакомство с одним интересным, скромным, хорошим человеком — инженером-строителем железнодорожного транспорта, живущим ныне в Херсоне. Об этом человеке я хочу рассказать...» Это начало и — далее: «... Моложавый, широкоплечий, с завидно здоровым цветом лица и очень добрыми глазами, он рассказал мне с легким грузинским акцентом все то, что никогда не изгладится из его памяти. Не может изгладиться еще и потому, что в его руках, бережно разворачиваемые им, написанные по-грузински письма к своей матери — первые, отправленные в те дни, и последние — из тех госпиталей, в которых позже ему, раненому в боях, довелось лежать. Это — драгоценные документы, подтверждающие точность его рассказа...»



Генерал-майор В. Ф. Коньков, вспоминая о первых днях Невского пятачка, писал, что для непосредственной артиллерийской поддержки пехотинцев на плацдарме он приказал переправить на тот берег четыре 76-миллиметровые пушки 576-го стрелкового полка. Орудия погрузили на плоты, наскоро сколоченные из бревен. Ночью под ураганным огнем противника плоты благополучно пересекли Неву.

А вот как вспоминает эту переправу рядовой артиллерист Тенгиз Татиури:

— Я был в расчете первой (это мне известно в точности) пушки, направленной на «пятачок». Сначала было тихо, шли медленно. Но когда достигли примерно середины реки, немцы начали артобстрел. Снаряды рвались, поднимая фонтаны воды. После разрыва плот угрожающе раскачивался, над головой жужжали осколки снарядов... Одна мысль: «Скорее бы до берега!» — владела мною, и я полагаю, всеми. Сидели молча, вцепившись в бревна плота, прислушивались к свисту каждого снаряда. Но плот не спешил, мне казалось, что он просто раскачивается на волнах. «Лучше, — думал я, — десять раз ходить в атаку на земле, чем один раз переправиться через Неву. Ступить бы только ногой на землю, а там уж ничто не страшно!»

40 дней сражался Тенгиз Татиури на Невском пятачке. Генерал-лейтенант С. Н. Борцев, вспоминая эти бои, говорил, что каждый день пребывания на этом плацдарме равен месяцу, а неделя году. Вот почему писатель Павел Лукницкий такое большое внимание уделил воспоминаниям Тенгиза Татиури в своей книге.

Мне Тенгиз Васильевич рассказал, что родился в Грузии, в Горийском районе, в селе Кошки (что по-русски «Замок»).

После окончания в 1940 году средней школы добровольно ушел на службу в Советскую Армию. Попал Татиури вместе со своими земляками в 115-ю стрелковую дивизию, дислоцировавшуюся тогда в Литве. Перед самой войной дивизию перевели на Карельский перешеек. До боев на Невском пятачке, вместе со всей дивизией, Тенгиз трижды выходил из окружения, а когда путь по суше был отрезан, 115-ю моряки-балтийцы на судах переправили в осажденный Ленинград. А еще через несколько дней началась эпопея у Невской Дубровки. После ранения на Невском пятачке и госпиталя Т. Татиури сражался под Колпином, участвовал во многих боевых операциях, проводимых на Ленинградском фронте. Осенью 1944 года получил четвертое, последнее ранение... В 1945 году двадцатидвухлетний инвалид третьей группы поступил в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта. «Весь институт на костылях выходил», — вспоминает ветеран о годах учебы...

Раны постепенно зажили, и в начале 1950-х годов молодой инженер был направлен на Украину, где только-только была возрождена железнодорожная сеть, разрушенная оккупантами. С тех пор Тенгиз Васильевич трудился на разных участках Одесской железной дороги. Сейчас уже — на заслу-

женном отдыхе. Ветеран — желанный гость школьников. Его часто можно видеть на уроках мужества, где он рассказывает о боевых товарищах, о боях на Невском пятачке, под Колпином, под Красным Бором, о наступлении, освобождении Кингисеппа, других городов и сел Эстонии, о возрождении народного хозяйства, о родной Грузии...

«Драгоценными документами» назвал Павел Лукницкий письма, написанные Тенгизом Татиури с фронта своей матери. В 1975 году по решению всей семьи они были переданы Государственному музею истории Ленинграда. Вот какое благодарственное письмо из архива этой замечательной семьи мне показали:

«Дорогая Анна Виссарионовна! (Письмо адресовано матери Тенгиза Татиури. — А. Ц.) По поручению дирекции и научного коллектива Государственного музея истории Ленинграда от всего сердца благодарю Вас за то, что Вы так бережно и с такой любовью больше 30 лет хранили письма Вашего сына, которые он посылал Вам с Ленинградского фронта. Теперь лишь благодаря Вам они стали музейными экспонатами и как священные реликвии предстанут перед посетителями нашего музея.

Спасибо Вам великое! У Вас замечательный сын! Именно благодаря таким отважным и преданным сынам Родины Ленинград выстоял и стал героем.

Для матери нет большего счастья, чем вырастить хорошего сына, такого, как Ваш Тенгиз, и Вы можете им по праву гордиться! Его письма, которые он писал Вам 34 года тому назад, теперь будут видеть и читать не только ленинградцы, но и посланцы всего мира. Желаю Вам всего самого доброго!

Старший научный сотрудник Государственного музея истории Ленинграда З. Г. Пивень».

А Тенгизу Васильевичу З. Пивень, в частности, писала: «Отныне эти письма стали реликвиями. Теперь они принадлежат истории. Не грустите о них! Им предстоит стать на самую почетную вахту — вахту Мира. Пусть эта мысль утешает Вас всегда...»

Мой рассказ о Тенгизе Татиури с Невского пятачка, как его часто называют знакомые, однополчане, красные следопыты, земляки, будет неполным, если не сказать, что у ветерана замечательная семья. У него и жены Анны двое детей, сын и дочь, оба уже имеют свои семьи; как и отец с матерью, дети стали инженерами.

Сегодня Тенгиз Васильевич — активный сотрудник общественной приемной херсонской областной газеты «Приднепровская правда». Он всегда добросовестно выполняет все задания редакции. В вышедшей в Ленинграде книге — сборнике воспоминаний «Невский пятачок» помещены и его воспоминания «Исповедь солдата».

СМУТНАЯ УЛЫБКА

Повесть

«Любовь — это то, что происходит между двумя людьми, которые любят друг друга».

Роже ВАЙАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

ПОСЛЕ двенадцати мы сидели в кафе на улице Сен-Жак, это был обычный весенний день, такой же, как все. Я немного скучала, потихоньку; пока Бертран обсуждал лекцию Слайра, я бродила от проигрывателя к окну. Помню, облокотившись на проигрыватель, я засмотрелась на пластинку, как она медленно поднимается, потом ложится на сапфировое сукно, прикасаясь к нему нежно, будто щека к щеке. И, не знаю почему, меня охватило сильное ощущение счастья: в тот момент я вдруг физически остро почувствовала, что когда-нибудь умру, и рука моя уже не будет опираться на этот хромированный бортик, и солнце уже не будет смотреть в мои глаза.

Я обернулась к Бертрану. Он смотрел на меня и, увидев мою улыбку, встал. Он и мысли не допускал, что я могу быть счастлива без него. Я имела право на счастье только в те минуты, которые были важными для нашей совместной жизни. Я уже начала понимать это, но в тот день мне это было невыносимо — и я отвернулась. Рояль и кларнет, чередуясь, вывели «Покинутый и любимый», мне был знаком каждый звук.

Я встретила Бертрана в прошлом году, во время экзаменов. Мы провели бок о бок беспокойную неделю, пока я не уехала на лето к родителям. В последний вечер он меня поцеловал. Потом он мне писал. Сначала о пустяках. Затем тон его изменился. Я следила за этими изменениями не без некоторого волнения, и когда он написал мне: «Смешно так говорить, но, кажется, я люблю тебя», — я не солгала, ответив ему



в том же тоне: «И правда смешно, но я тоже тебя люблю». Это вышло как-то само собой, вернее, внешне было равнодушно, что написал мне он. В доме моих родителей, на берегу Ионны, было не очень весело. Я ходила на высокий берег и, глядя на скопище желтых водорослей, на их колыхание, начинала бросать шелковистые, обкатанные камешки, черные и стремительные на глади воды, как ласточки. Все лето я про себя повторяла «Бертран», думая о будущем. В конце концов, договориться о взаимной страсти в письме — было вполне в моем духе.

И вот теперь Бертран стоял позади меня. Он протягивал мне стакан. Я обернулась, и мы оказались лицом к лицу. Он всегда немного обижался на то, что я не принимала участия в их спорах. Я любила читать, но говорить о литературе мне было скучно.

Он никак не мог к этому привыкнуть.

— Ты всегда ставишь одну и ту же мелодию. И знаешь, я ее очень люблю.

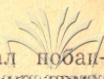
Последнее он постарался сказать равнодушно, и я вспомнила, что первый раз мы слушали эту пластинку вместе. Я постоянно обнаруживала в нем ростки сентиментальности — он помнил какие-то вещи, служившие вехами в нашей связи, которые моя память не сохранила. «Ведь он ничего не значит для меня, — вдруг подумала я, — мне скучно, я ко всему равнодушна, ничего не ощущаю, ровным счетом ничего». И снова чувство какого-то бессмысленного возбуждения подступило к горлу.

— Мне нужно повидать моего дядю-путешественника, — сказал Бертран. — Ты пойдешь?

Он прошел мимо меня, и я последовала за ним. Я не знала дядю-путешественника и не испытывала ни малейшего желания его узнать. Но что-то заставляло меня идти за этим молодым человеком, глядя на его чисто выбритый затылок, соглашаться, не сопротивляясь, а тем временем в голове моей проносились обрывки мыслей, холодные и ускользающие, как маленькие рыбки. Впрочем, я чувствовала к Берtrandу нежность. Мы шли с ним по бульвару, звуки наших шагов сливались так же, как ночью сливались наши тела; он держал меня за руку; мы были такие изящные, так хорошо смотрелись, как на картинке.

Пока мы шли по бульвару и стояли на площадке автобуса, который вез нас к дяде-путешественнику, я любила Бертрана. Из-за тряски меня бросало к нему, он смеялся и обнимал меня, защищая от толчков. Я прислонилась к нему, к его плечу, к мужскому плечу, такому удобному, чтобы положить на него голову. Я вдыхала его запах, он был мне хорошо знаком, он волновал меня. Бертран был моим первым любовником. Это благодаря ему я узнала, как пахнет мое собственное тело. Так всегда, благодаря телу другого мы узнаем свое собственное, его длину, запах, сначала с недоверием, потом с признательностью.

Бертран говорил мне о своем дяде-путешественнике, которого он, видимо, не любил. Он рассказывал о его поездках так, будто это была сплошная комедия; Бертран постоянно



выискивал комедии в чужих жизнях, так что начал пообавляться, не разыгрывает ли комедию и он, сам того не замечая. Мне это казалось комичным. Его это приводило в ярость.

Дядя-путешественник ждал Бертрана на террасе кафе. Когда я заметила его, то сказала Бертрону, что он весьма недурен. Но мы уже подошли к нему, он поднялся.

— Люк, — сказал Бертран, — я пришел с подругой, это Доминика. Это мой дядя Люк — путешественник.

Я была приятно удивлена. Я подумала: «Очень даже ничего этот дядя-путешественник». У него были серые глаза, лицо усталое, пожалуй, грустное. Он был по-своему красив.

— Как прошла последняя поездка? — спросил Бертран.

— Отвратительно. В Бостоне пришлось заниматься скучнейшим делом о наследстве. Всякие заплесневелые адвокаты суют носы во все углы. Очень надоело. А что у тебя?

— У нас через два месяца экзамены, — сказал Бертран.

Слово «у нас» он подчеркнул. В этом была супружеская сторона Сорбонны: говорить об экзаменах, как о грудном младенце.

Дядя повернулся ко мне:

— Вы тоже сдаете экзамены?

— Да, — сказала я неопределенно. (Моя деятельность всегда заставляла меня испытывать некоторый стыд).

— У меня кончились сигареты, — сказал Бертран.

Он встал, и я проследила за ним взглядом. Он шел быстро, упругой походкой. Когда я порой думала, что весь этот набор мускулов, рефлексов, матовой кожи принадлежит мне, то всегда считала это удивительным подарком.

— Чем вы занимаетесь кроме экзаменов? — спросил дядя.

— Ничем, — ответила я. — Всякой ерундой. — Я вяло махнула рукой.

Он поймал мою руку на лету. Я смотрела на него, озадаченная. В голове моей пронеслось: «Он мне нравится. Немного староват, и он мне нравится». Но он опустил мою руку на стол и улыбнулся:

— У вас все пальцы перепачканы чернилами. Это хороший признак. Вы успешно сдадите экзамены и будете блестящим адвокатом, хотя по вашему виду не скажешь, что вы разговорчивы.

Я засмеялась вместе с ним. Мне захотелось, чтобы он стал моим другом.

Но тут вернулся Бертран; Люк заговорил с ним. Я не вслушивалась в их разговор. Люк говорил медленно, у него были большие руки. Я подумала: «Типичный соблазнитель юных девиц моего склада». Я насторожилась. Не настолько, впрочем, чтобы не почувствовать легкого укола, когда он предложил нам позавтракать через день всем вместе, но уже с его женой.

Глава 2

Два дня до этого завтрака у Люка прошли довольно скучно. Да и в самом деле, что мне было делать? Готовиться к экзамену, от которого я не ждала ничего особенного, валять-

ся на солнце, заниматься любовью с Бертраном без особенной взаимности с моей стороны? Я, впрочем, любила его. Довирие, нежность, уважение — я не пренебрегала всем этим, мало думая о страсти. Такое отсутствие подлинных чувств казалось мне наиболее нормальным способом существования. Жить, в конце концов, значило устраиваться как-нибудь так, чтобы быть максимально довольным. Но и это не так легко.

Я жила в частном пансионе, населенном одними студентами. Хозяйева отличались широким взглядом на вещи, и я спокойно могла возвращаться домой в час, в два ночи. У меня была большая, с низким потолком, комната, совершенно голая, потому что мои первоначальные планы как-то ее украсить быстро провалились. От убранства комнаты я требовала одного — чтобы оно мне не мешало. В доме царил тот самый провинциальный дух, который я так люблю. Мое окно выходило во двор, огороженный низкой стеной, над ней кое-как примостилось небо, всегда урезанное по краям, зажатое со всех сторон небо Парижа, иногда вырывавшееся в убегающую даль над какой-нибудь улицей или балконом, волнующее и нежное.


Я вставала, ходила на лекции, встречалась с Бертраном, мы завтракали. Библиотека Сорбонны, кино, занятия, террасы кафе, друзья. По вечерам мы ходили на танцы или шли к Бертрану, лежали в постели, занимались любовью и потом долго разговаривали в темноте. Мне было хорошо, но всегда во мне, словно теплое живое существо, был этот привкус тоски, одиночества, порой возбуждения. Я говорила себе, что у меня, должно быть, просто больная печень.

В пятницу, до завтрака у Люка, я зашла к Катрин и посидела у нее полчаса. Катрин была подвижна, деспотична и непрерывно влюблена. Я не столько дорожила ее дружбой, сколько ее терпела. Она считала меня существом хрупким, незащищенным, и мне это нравилось. Иногда она даже казалась мне удивительной. Мое равнодушие ко всему представлялось ей чем-то поэтичным, так же как оно долго представлялось поэтичным Бертрану, пока его не захватило желание обладать, всегда такое требовательное.

В этот день она была влюблена в одного из своих двоюродных братьев и очень длинно рассказывала мне об этой идиллии. Я сказала ей, что иду завтракать к родственникам Бертрана, и сама вдруг заметила, что уже немного забыла Люка. И пожалела об этом. Почему я не способна рассказать Катрин такую же нескончаемую и наивную любовную историю? Она даже этому не удивлялась. Мы с ней прочно утвердились каждая в своей роли. Она рассказывала — я слушала, она советовала — тут я уже не слушала.

Встреча с Катрин выбила меня из колеи. Я отправилась к Люку без всякого энтузиазма. Даже со страхом: надо разговаривать, быть любезной, казаться веселой. Насколько приятнее было бы позавтракать одной, вертеть в руках баночку с горчицей, и чтобы не было никакой ответственности, ни малейшей, совершенно никакой...

Когда я пришла к Люку, Бертран был уже там. Он представил меня жене своего дяди. У нее было открытое, доброе, очень хорошее лицо. Крупная, немного тяжеловесная, светло-



волосая. В общем красивая, но не вызывающая. Я подумала — она из тех женщин, которых многие мужчины хотели бы иметь рядом с собой, женщин, умеющих давать счастье, словом, ласковых, мягких. Ласкова ли я? Надо будет спросить у Бертрана. Конечно, я брала его за руку, не кричала на него, перебирала его волосы. Но ведь я вообще терпеть не могла кричать, а моим рукам нравилось ласкать его волосы, теплые и густые, как мех какого-то животного.

Франсуаза с самого начала отнеслась ко мне очень мило. Показала мне квартиру — отлично обставленную, наполнила мне рюмку, усадила в кресло, заботливо и непринужденно. Неловкость, которую я чувствовала из-за своей немного поношенной юбки и обвисшего свитера, почти прошла. Ждали Люка, он был на работе. Я подумала, не надо ли мне проявить хоть какой-нибудь интерес к профессии Люка, чего, вообще говоря, я никогда не делала. Мне хотелось спрашивать у людей: «Вы влюблены? Что вы читаете?», но никогда меня не трогала их профессия — часто, с их точки зрения, вопрос первостепенный.

— У вас грустный вид, — заметила Франсуаза, улыбаясь. — Налить вам еще виски?

— Спасибо.

— У Доминики уже репутация пьяницы, — сказал Бертран. — И знаете почему?

Он вдруг встал и подошел ко мне с серьезным видом:


— Верхняя губа у нее коротковата; когда она пьет, прикрыв глаза, на лице появляется проникновенное выражение, не имеющее отношение к виски.

Говоря, он держал мою верхнюю губу между большим и указательным пальцами. Он демонстрировал меня Франсуазе, как молодую охотничью собаку. Я засмеялась, и он меня отпустил.

Вошел Люк.

Когда я увидела его, я еще раз подумала, и на этот раз с некоторой болью, что он очень красив. Его красота действительно причинила мне боль, как любая вещь, которой я не могла обладать. Мне редко хотелось чем-нибудь обладать, но тут я сразу поймала себя на мысли, что мне хочется взять это лицо в руки, неистово ежать пальцами, прижаться губами к этим крупным, немного удлинненным губам. А ведь красив он все-таки не был. Потом мне это часто говорили. И несмотря на это, хотя я видела это лицо всего два раза, было в нем что-то, что сделало его для меня в тысячу раз менее чужим, в тысячу раз более желанным, чем лицо Бертрана, который мне как-никак нравился.

Он вошел, поздоровался, сел. Он умел сохранять удивительную неподвижность. Я хочу сказать, в медлительности его жестов было что-то напряженное, сдержанное, он как бы забывал о своем теле, и это даже тревожило. Он с нежностью смотрел на Франсуазу. Я смотрела на него. Я не помню, о чем мы говорили. Особенно много говорили Бертран и Франсуаза. Надо сказать, я не могу без ужаса вспоминать всю эту преамбулу. В тот момент было достаточно проявить хоть немного осторожности, замкнуться — и я бы ускользнула от



него. Зато мне не терпится дойти до того первого раза, когда я была счастлива с ним. Одна мысль, что я опишу эти первые мгновения, вдохну на минуту жизнь в слова, наполняет меня радостью, горькой и нетерпеливой.

И вот завтрак с Люком и Франсуазой кончился. Потом, на улице, я сразу же приоровилась к быстрым шагам Люка — как ходит Бертран, я забыла. Когда мы переходили улицу, Люк взял меня за локоть. Помню, меня это стесняло. Я не ощущала ни своего предплечья, ни кисти, вяло повисшей вдоль тела, как будто там, где не было руки Люка, моя рука омертвела. Я не могла вспомнить, как же это я ходила с Бертраном. Потом они с Франсуазой отвели меня к портному и купили мне красное драповое пальто, а я была в таком оцепенении, что не смогла ни отказаться, ни даже поблагодарить их. Уже тогда в присутствии Люка все происходило очень быстро, развивалось стремительно. Потом время снова обрушилось как удар, снова появились минуты, часы, выкуренные сигареты.

Бертрана очень разозлило, что я приняла это пальто. Когда мы остались одни, он устроил мне настоящую сцену: — Это совершенно невероятно! Неизвестно кто предложит тебе неизвестно что, и ты не откажешься! Более того, даже не удивишься!

— Это не неизвестно кто. Это твой дядя, — выкручивалась я. — В любом случае я не смогла бы купить это пальто сама: оно ужасно дорогое.

— Ты могла бы обойтись и без него, я полагаю.

За два часа я успела привыкнуть к новому пальто — оно мне удивительно шло — и эта последняя фраза меня немного задела. В моих рассуждениях была все-таки некоторая логика, ускользавшая от Бертрана. Я сказала ему об этом, мы стали спорить. В заключение он привел меня к себе без обеда, в виде наказания. Наказанием это было для него, я знала, что час обеда — самый важный, самый почитаемый им час суток. Он лежал рядом со мной и целовал меня с осторожностью и трепетом, это трогало меня и пугало. Мне больше нравилось веселое бесстыдство первой поры нашей связи, молодые, по-животному непосредственные объятия. Но когда я почувствовала его всего, когда он стал нетерпеливо искать меня, я забыла нынешнего Бертрана и наше взаимное недовольство. Со мной был прежний Бертран, и это ожидание, и это наслаждение.

И сейчас, именно сейчас, счастье, физическое самозабвение кажется мне невероятным подарком и поэтому особенной насмешкой представляется необходимость признать это главным, несмотря на все мои былые выводы и ощущения.

Глава 3

Мы еще несколько раз обедали вчетвером или с приятелями Люка. Потом Франсуаза уехала на десять дней к своим друзьям. Я уже полюбила ее: она была необыкновенно внимательна к людям, очень добра, в ее доброте чувствовалась большая твердость, а порой боязнь чего-то в людях не понять, и это нравилось мне больше всего. Франсуаза была как земля,

надежная как земля, а иногда ребячливая. Они с Люком часто смеялись вместе.

Мы провожали ее с Лионского вокзала. Я уже была такой робкой, как вначале, напротив — почти раскованной: словом, я повеселела, потому что исчезновение вечной моей тоски, которой я все еще не решаюсь дать название, внесло приятную нотку в мой характер. Я стала живой; иногда озорной; мне казалось, что такое положение вещей может продолжаться бесконечно. Я привыкла видеть Люка, а внезапное волнение, охватывавшее меня при встрече с ним, приписывала эстетическим причинам или привязанности. У вагона Франсуа улыбнулась:

— Я вам его доверяю, — сказала она нам.

Поезд отошел. Когда мы возвращались, Бертран отстал, чтобы купить уж не знаю какой литературно-политический журнал, что-то его там возмутило. Люк вдруг повернулся ко мне и очень быстро сказал:

— Пообедаем завтра вместе?

Я начала ему говорить: «Хорошо, я спрошу у Бертрана», — но он меня перебил: «Я вам позвоню», — и повернулся к Бертрану, в этот момент нас догнавшему:

— Что за журнал тебе понадобился?

— Я его не нашел. У нас сейчас лекция, Доминика. Надо торопиться.

Он взял меня под руку. Я была в его власти. Они с Люком смотрели друг на друга с недоверием. Я растерялась. Франсуа уехала, и все стало тревожным и неприятным. Я без всякого удовольствия вспоминаю это первое проявление внимания ко мне Люка, потому что, как уже говорила, нацепила на себя превосходные шоры. Я отчаянно хотела возвращения Франсуазы, которая была для нас оплотом. Я понимала, что наш квартал держится на фальшивой основе, и это огорчало меня; как все, кому ничего не стоит солгать, я была чувствительна к окружающей обстановке и вполне искренна, играя в ней свою роль.

— Я вас отвезу, — бросил Люк.

У него была открытая, быстрая машина, он хорошо ее водил. По дороге никто из нас не проронил ни слова, только «до скорого», когда расставались.

— В общем, я рад, что она уехала, — сказал Бертран. — Невозможно постоянно видеть одних и тех же людей.

Эта фраза исключала Люка из наших планов, но я ничего не сказала Бертрану. Я становилась осторожной.

— И потом, — продолжал Бертран, — все-таки они не много староваты, правда?

Я не ответила, и мы отправились на лекцию Брема об эпикурейской морали. Я слушала ее некоторое время, не шевелясь. Люк хотел пообедать со мной вдвоем. Это было похоже на счастье. Я водила пальцами по скамье, чувствовала на лице невольную улыбку. Пришлось отвернуться, чтобы ее не увидел Бертран. Это длилось минуту, не больше. Потом я ска-

зала себе: «Тебе польстило его приглашение, это вполне естественно». Сжигать за собой мосты, отрезать себе все пути, не поддаваться — у меня всегда была хорошая ответная реакция молодости.

На следующий день я решила, что мой обед с Люком должен быть занятым и без последствий. Я представляла себе, как он появится и с пламенным видом сделает мне признание. Он приехал, немного опоздав, был рассеян, я же испытывала единственное желание — чтобы он обнаружил хоть какое-нибудь волнение от нашего тет-а-тет. Но никакого волнения не было, он говорил о разных вещах так спокойно и с такой непринужденностью, что в конце концов и я переняла его тон. Вероятно, это был единственный человек, с которым мне было уютно и совершенно не скучно. Потом он предложил мне пообедать и повез меня в «Сонни». Там он встретил друзей, они приселили меня к нам, и я мысленно обозвала себя тщеславной дуручкой — с чего я, собственно, взяла, что ему хочется остаться со мной наедине?

К тому же, глядя на женщин за нашим столиком, я отметила, что во мне нет ни элегантности, ни блеска. Короче говоря, от роковой молодой девушки, какой я казалась себе весь день, к полуночи осталась жалкая, упавшая духом личность, стесняющаяся своего платья и взывающая про себя к Бертрану, которому она кажется красавицей.

Приятели Люка говорили о содовой воде, о ее благотворном действии на следующий день после попойки. Все эти существа употребляли содовую воду, а по утрам тщательно занимались собой, будто собственное тело — это прелестная игрушка, оно служит предметом удовольствия и неустанных забот. Может быть, мне нужно забросить книги, разговоры, прогулки пешком и броситься в море дорогих развлечений, в суету сует и другие затягивающие занятия того же рода? Иметь средства и стать красивой вещью. Эти люди, нравятся ли они Люку?

Он, улыбаясь, повернулся ко мне и пригласил танцевать. Он обнял меня, осторожно прижал к себе, моя голова оказалась возле его подбородка. Мы стали танцевать. Я чувствовала его тело.

— Вам скучно с этими людьми, правда? — сказал он. — Женщины слишком много щебечут.

— Я ни разу не была в настоящем ночном кабачке. И сейчас просто потрясена.

Он засмеялся.

— А вы забавны, Доминика. И очень мне нравитесь. Давайте еще поговорим, пойдемте.

И мы ушли. Люк повел меня в бар на улице Марбеф, там мы начали размеренно пить. Мне нравилось виски, а кроме того, я знала, что для меня это единственный способ хоть немного разговориться. Очень скоро Люк стал казаться мне приятным, обольстительным и совсем не страшным. Я даже испытывала к нему какую-то расслабленную нежность.

Разумеется, мы заговорили о любви. Он сказал, что ^{это} прекрасная вещь, не такая уж необходимая, как утверждают, но для полного счастья нужно быть любимым и горячо ^{любить} самому. Я только кивала в ответ. Он сказал, что ^{очевидно} стилив, потому что любит Франсуазу, а она любит его. Я поздравила его, уверяя, что меня это ничуть не удивляет, потому что оба они — он и Франсуаза — люди очень, очень хорошие. Меня захлестнуло умиление.

— Поэтому, — сказал Люк, — если бы у нас с вами получился роман, я был бы по-настоящему рад.

Я глупо засмеялась. У меня уже не осталось способности реагировать.

— А Франсуаза? — спросила я.

— Франсуаза... Я, может быть, скажу ей об этом. Знаете, вы ей очень нравитесь.

— Вот именно, — сказала я. — И потом, не знаю, наверное такие вещи не рассказывают...

Я негодовала. Непрерывные переходы из одного состояния в другое в конце концов вымотали меня. Мне казалось одновременно и абсолютно естественным и абсолютно неприличным, что Люк предлагает мне лечь с ним в постель.

— Во всяком случае, что-то есть, — сказал Люк серьезно. — Я хочу сказать: между нами. Видит бог, я вообще не люблю молоденьких девочек. Но мы с вами похожи. Я думаю, это было бы не так уж глупо и не банально. А это редко случается. Так что подумайте.

— Ну что ж, — сказала я. — Подумаю.

Должно быть, у меня был жалкий вид. Люк наклонился ко мне и поцеловал в щеку.

— Бедная вы моя девочка, — сказал он. — Ну как вас не пожалеть. Если бы вы имели хоть какое-нибудь понятие об элементарной морали. Но у вас его не больше, чем у меня. И вы благородны. И любите Франсуазу. И меньше скучаете со мной, чем с Вертраном. Да! Ну и дела!

Он засмеялся. Я была задета. Я и потом всегда чувствовала себя более или менее уязвленной, когда Люк начинал, по его выражению, подводить итоги. В тот раз он это заметил.

— Все это пустяки, — сказал он. — В таких вещах все это действительно неважно. Вы мне очень нравитесь. Ты мне очень нравишься. Нам будет весело вместе. Весело — и только.

— Я вас ненавижу, — сказала я замогильным голосом.

Мы оба засмеялись. Это согласие, достигнутое в течение трех минут, показалось мне подозрительным.

— А сейчас я тебя отвезу, — сказал Люк. — Уже поздно. Или, если хочешь, поедem на набережную Берси, посмотрим восход солнца.

Мы доехали до набережной Берси. Люк остановил машину. Небо над Сеной, застывшей среди подъемных кранов, как грустный ребенок среди игрушек, было совсем белым. Совсем

Белым и серым одновременно: оно поднималось навстречу дню над безжизненными домами, мостами, над этим скопищем железа, медленно, упорно, в своем ежеутреннем усилии. Люк молча курил, стая около меня, лицо его было неподвижно. Я протянула ему руку, он взял ее в свою, и мы тихо возвратились к моему пансионату. Около дверей он выпустил мою руку, я вышла из машины, и мы улыбнулись друг другу. Я рухнула на постель, подумала, что надо бы раздеться, постирать чулки, повесить платье на вешалку, и тут же заснула.

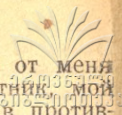
Глава 4

Я проснулась с тягостным ощущением необходимости прийти к какому-то решению. Люк предлагал мне игру, соблазнительную, но, тем не менее, способную разрушить мое чувство к Бертрану и еще какое-то неясное ощущение во мне, неясное, но все-таки достаточно острое и противостоящее, как бы там ни было, кратковременности. По крайней мере, той непринужденной кратковременности, которую предлагал мне Люк. И потом, если любая страсть, даже связь, и представлялась мне преходящей, принять это как изначальную необходимость я не могла. Подобно всем людям, живущим среди каких-то полукомедий, я выносила только те, что ставила сама и сама смотрела.

К тому же я хорошо понимала — такая игра опасна, если вообще это было игрой, если возможна игра между двумя людьми, которые действительно нравятся друг другу и хотя бы заполнить друг другом свое одиночество, пусть даже временно. Глупо было считать себя более сильной, чем я была на самом деле. С того дня, когда Люк, как говорила Франсуаза, «приручил» меня, признал и полностью принял, я уже не смогла бы расстаться с ним без боли. Бертран был способен только на одно — любить меня. Я говорила себе это и чувствовала нежность к Бертрану, но о Люке думала без всякой сдержанности. Потому что, по крайней мере пока ты молод, — в этом долгом обмане, называемом жизнью, ничто не кажется таким отчаянно желанным, как опрометчивый шаг. Наконец, я никогда сама ничего не решала. Меня всегда выбирали. Почему не позволить сделать это еще раз? Будет Люк со своим обаянием, будет повседневная скука, вечера. Все случится само собой, и не стоит даже пытаться что-то понять.

И вот, охваченная блаженной покорностью, я отдалась течению. Я снова встречалась с Бертраном, с друзьями: мы вместе шли завтракать на улицу Кюжа, и все это, в общем такое обычное, казалось мне неестественным. Мое настоящее место было рядом с Люком. Я смутно чувствовала это, а между тем Жан-Жак, один из приятелей Бертрана, заметил с иронией, намекая на мой мечтательный вид:

— Это немисливо, Доминика, ты явно влюблена! Бертран, в кого ты превратил эту рассеянную девушку? В принцессу Клевскую!



— Я тут ни при чем, — сказал Бертран.

Я посмотрела на него. Он покраснел и отвел от меня взгляд. Это и впрямь было невероятно: мой соучастник, мой спутник в течение целого года, разом превратился в противника! Я невольно сделала движение в его сторону. Мне хотелось сказать: «Бертран, послушай, ты не должен страдать, мне было бы жаль, я этого не хочу». Я могла бы даже глупо добавить: «Вспомни, наконец, лето, зиму, твою комнату, все, что невозможно уничтожить за три недели, это неразумно». И мне хотелось, чтобы он яростно подтвердил мои слова, успокоил меня, вновь меня обрел. Потому что он любил меня. Но он не был мужчиной. В некоторых мужчинах, в Люке, была какая-то сила, которой ни Бертран и ни один из этих молодых людей не обладали. И дело тут не в опыте...

— Отстаньте от Доминики, — сказала Катрин властно, как всегда. — Брось, Доминика, мужчины — такие грубияны, пойдем, выпьем кофе.

Когда мы вышли, она объяснила мне, что все это ерунда, что в душе Бертран очень ко мне привязан и что не нужно расстраиваться из-за приступа плохого настроения. Я не возражала. В конце концов лучше, если Бертран не будет унижен в глазах общих друзей. Меня тошнило от их вечных разговоров, от всех этих мальчишеских и девчоночьих историй, от их драм. Но был Бертран, он страдал, и это уже был не пустяк. Как все быстро происходит! Не успела я порвать с Бертраном, как они уже обсуждают это, ищут объяснений, и я, в раздражении, готова обострить и усложнить то, что могло бы быть всего-навсего мимолетной растерянностью.

— Ты не понимаешь, — сказала я Катрин. — Не в Бертране дело.

— А!.. — вырвалось у нее.

Я обернулась к ней и увидела на ее лице выражение такого любопытства, такого страстного желания давать советы и такой кровожадности, что даже рассмеялась.

— Я собираюсь уйти в монастырь, — сказала я серьезно.

Тогда Катрин, не особенно удивившись, пустилась в длинную дискуссию о радостях жизни, о маленьких птичках, солнышке и т. д. «Вот что я оставляю из-за сущего безумия!» Потом она заговорила о плотских наслаждениях и, понизив голос, зашептала: «Нужно прямо сказать, это тоже кое-чего стоит». Короче говоря, если бы я действительно подумывала об уходе в монастырь, она своими описаниями радостей жизни свергла бы меня в религиозный экстаз. Я тут же распрощалась с ней не без радости. «Катрин мы тоже упраздним, — подумала я весело, — Катрин и ее самоотверженность». Я даже начала тихонько напевать от ярости.

Я погуляла часок, зашла в шесть магазинчиков, без стеснения вступала со всеми в разговор. Я чувствовала себя такой свободной, такой веселой. Париж принадлежал мне. Париж принадлежит людям раскованным, непринужденным, я всегда это чувствовала, но с болью — я этими качествами не обла-

дала. На этот раз он был мой, мой прекрасный город, золотистый и пронзительный, такой, «что даже выдумать невозможно». Я шла, окрыленная чем-то, должно быть, радостью.

Я шла быстро. Меня мучило нетерпение, кровь пульсировала в жилах; я чувствовала себя юной, юной до смешного. В эти минуты безумного счастья мне показалось, что я обрела истину, куда более очевидную, чем те маленькие и жалкие, которые я без конца пережевывала, когда мне было грустно.

Я зашла в кино на Елисейских полях, где шли старые фильмы. Какой-то молодой человек сел рядом со мной. Украдкой взглянув на него, я увидела, что он приятен, только слишком белокур. Скоро он пристроил свой локоть рядом с моим и осторожно подвинул руку к моему колену: я перехватила его руку на лету и сжала в своей. Мне хотелось смеяться, смеяться, как школьнице. Отвратительная теснота темных залов, прижимания украдкой, стыд — что все это значит? В моей руке горячая рука незнакомого молодого человека, он для меня ничто, мне хотелось только смеяться. Он повернул свою руку в моей, медленно подвинул колено. Я смотрела на его действия с любопытством и страхом, но поощрительно. Как и он, я боялась, что во мне проснется чувство собственного достоинства, я превращалась в старую даму, которая поднимается со своего кресла, потому что ей все это уже надоело. Сердце мое немного заколотилось: от волнения или от фильма? Фильм, кстати, был хороший. Следовало бы устроить кинотеатр, где шли бы пустяковые фильмы для тех, кому не с кем поразвлечься. Молодой человек вопросительно взглянул на меня и, поскольку это был шведский фильм на светлой пленке, я убедилась, что он, в самом деле, довольно красив. «Довольно красив, но не в моем вкусе», — подумала я в то время, как он осторожно приближал свое лицо к моему. Я на секунду вспомнила о людях, сидящих позади нас — они, вероятно, думали, что...

Я шла по Елисейским полям, ощущая вкус незнакомых губ, потом решила вернуться домой и почитать новый роман.

Это была замечательная книга Сартра — «Время разума». Я с радостью накинулась на нее. Я была молода, один мужчина мне нравился, другой меня любил. Мне предстояло решить одну из глупых, маленьких девичьих проблем; я раздвигалась от гордости. Мужчина даже был женат, и, значит, существовала другая женщина, и мы разыгрывали наш квартал, запутавшись в парижской весне. Из всего этого я составила прекрасное, четкое уравнение, циничное, лучше некуда. К тому же я поразительно хорошо чувствовала себя в своей шкуре. Я принимала и грусть, и нерешенные проблемы, и будущие удовольствия, я заранее принимала все с насмешкой.

Я читала. Наступил вечер. Положила книгу; облокотившись на руку, глядела на небо, которое из сиреневого становилось серым. Я вдруг почувствовала себя слабой и незащищенной. Моя жизнь проходила, я ничего не делала, я насмешничала. Хотя кто-нибудь был бы рядом со мной, кого

я буду беречь, кого я прижму к себе с мучительной, безудержной силой любви. Я была не настолько цинична, чтобы завидовать Бертрону, но мне было достаточно грустно, чтобы завидовать любой счастливой любви, каждой встрече, от которой теряют голову, всякому любовному рабству.

Глава 5

В последующие две недели я несколько раз встречалась с Люком. И всегда с его друзьями. Это были, в основном, путешествующие люди с приятной внешностью и рассказами о своих поездках. Люк говорил быстро, с юмором, был ко мне внимателен, сохраняя непринужденный и рассеянный вид одновременно, и это постоянно заставляло меня сомневаться в том, что я ему действительно интересна. Он сразу же подвозил меня к дому, выходил из машины и перед уходом легонько касался губами моей щеки. Он больше не заговаривал о своем желании обладать мной, и от этого я чувствовала и облегчение и разочарование. Наконец он сказал, что Франсуаза возвращается послезавтра, и мне стало ясно, что эти две недели прошли как во сне и что все мои размышления были ни к чему.

Утром мы отправились на вокзал встречать Франсуазу, без Бертрана — он был сердит на меня вот уже десять дней. Я жалела об этом, но одиночество не мешало мне жить праздно и беспечно, и мне это нравилось. Я знала — ему очень тяжело не видеть меня — от этого мне было не по себе.

Франсуаза приехала улыбающаяся, поцеловала нас, сказала, что мы плохо выглядим, но это скоро пройдет: мы приглашены на уик-энд к сестре Люка, той, что доводилась Бертрону матерью. Я запротестовала, ссылаясь на то, что я не приглашена и что мы с Бертраном немного поссорились. Люк добавил, что сестра его раздражает. Франсуаза все устроила: Бертран попросит свою мать, чтобы она меня пригласила. «Наверняка, — сказала Франсуаза, улыбаясь, — чтобы прекратить эту знаменитую ссору». Что же касается Люка, ему полезно, время от времени проникаться духом семьи.

Она смотрела на меня, улыбаясь, и я тоже улыбнулась ей, растерявшись от ее приветливости. Она пополнила. Пожалуй, она была немного грузной, но от нее исходили тепло и доверчивость, и я обрадовалась, что между мной и Люком ничего не произошло и что нам снова может быть хорошо, как раньше — всем троим вместе. Я вернусь к Бертрону, с ним, в сущности, не так уж скучно, он прекрасно образован и умен. Мы были очень благоразумны — Люк и я. Но сидя в машине между ним и Франсуазой, я посмотрела на него в какой-то момент как на человека, от которого отказалась, и это причинило мне странную боль, мимолетную, но очень ощутимую.

Прекрасным вечером мы покинули Париж и поехали к матери Бертрана. Я знала, что муж оставил ей очень красивый загородный дом, и мысль поехать куда-то на уик-энд удовлетворяла во мне некоторый, ну, скажем, снобизм — до сих

пор у меня не было случая в нем поупражняться. Бертран говорил мне, что его мать очень приятный человек. При этом он напустил на себя рассеянный вид; так делают все молодые люди, рассказывая о своих родителях, чтобы как можно яснее показать, насколько далека от всего этого их собственная настоящая жизнь. Я протретила на полотняные брюки, у Катрин такие были, но слишком широкие для меня. Это приобретение несколько подорвало мой бюджет, но я знала, что Люк и Франсуаза позаботятся обо мне, если это будет необходимо. Я сама удивлялась легкости, с какой я принимала их помощь, но как всякий человек, умеющий ладить с собственной совестью, по крайней мере в мелочах, я приписывала эту легкость скорее деликатности, с которой они проявляли свое великодушие, чем отсутствию у меня таковой. Куда более разумно все-таки наделять какими-то качествами других, чем признавать свои недостатки.

Люк и Франсуаза заехали за нами в кафе на бульваре Сен-Мишель. Люк снова выглядел усталым и немного грустным. Он очень быстро вел по шоссе машину, даже рискованно. От страха Бертрана разбирал смех, я немедленно присоединилась к нему, и Франсуаза, услышав, что мы смеемся, обернулась. У нее был растерянный вид, свойственный мягким людям, неспособным протестовать, даже когда речь идет об их жизни.

— Почему вы смеетесь?

— Они молоды, — сказал Люк. — В двадцать лет еще можно позволить себе беспричинный смех.

Не знаю почему, мне не понравилась эта фраза. Я не любила, когда Люк обращался со мной и Бертраном как с парой, тем более как с парой детей.

— Это на нервной почве, — сказала я. — Вы едете очень быстро, тут уж не до примерного поведения.

— Поедешь со мной, — сказал Люк, — я научу тебя водить.

Он впервые сказал мне «ты» на людях. Это можно расценить как промах, подумала я. Франсуаза взглянула на Люка. Мысль о промахе рассмешила меня. Я не верила в разоблачающие оплошности, перехваченные взгляды, поразительные предчувствия. В романах мне попадались фразы вроде: «И вдруг она поняла, что он обманывает ее», — это меня всегда удивляло.

Мы приехали. Люк резко развернулся на узкой дороге, и меня бросило к Бертрану. Он прижал меня к себе, сильно и нежно, меня это очень смутило. Было невыносимо, что Люк это видел. Это показалось мне неприличным и, что уж совсем глупо, невежливым по отношению к нему.

— Вы похожи на птичку, — сказала мне Франсуаза.

Она обернулась и смотрела на нас. У нее был действительно добрый взгляд, в нем чувствовалось расположение. В ней не было такого превосходства зрелой женщины перед парой подростков. По-видимому, она просто хотела сказать, что мне очень хорошо в объятиях Бертрана, что я очень трогательна. Мне, разумеется, нравилось выглядеть трогательной,

это часто избавляло меня от необходимости размышлять, обдумывать, отвечать.

— На старую птичку, — сказала я. — Я чувствую себя старой.

— Я тоже, — сказала Франсуаза. — Но это легче объяснить.

Люк, улыбаясь, обернулся к ней. Я вдруг подумала: «Они приятны друг другу; и они наверняка еще спят вместе. Он спит рядом с ней, ложится рядом, любит ее. Думает ли он о том, что Бертран обладает мной? Представляет ли себе это? И чувствует ли, как я, думая о нем, смутную ревность?»

— Вот мы и дома, — сказал Бертран. — Еще одна машина; боюсь, нет ли тут кого из обычных гостей матери.

— В этом случае мы уезжаем, — ответил Люк. — Меня в ужас приводят гости моей дорогой сестры. Я знаю прелестную гостиницу в двух шагах отсюда.

— Посмотрим, — сказала Франсуаза, — хватит плохого настроения. Это прекрасный дом, и Доминика его еще не видела. Идемте, Доминика.

Она взяла меня за руку и повела к довольно красивому дому, окруженному лужайками. Я подчинилась, думая про себя, что не хватало мне еще сделать ей гадость — обмануть Франсуазу с ее мужем — и что я ее все-таки очень люблю, я бы предпочла не знаю что сделать, лишь бы не причинять ей боли. Она всего этого, конечно, не знала.

— Ну вот и вы, наконец, — послышался резкий голос.

За оградой появилась мать Бертрана. Я никогда раньше не видела ее. Она бросила на меня испытующий взгляд, каким матери молодых людей всегда одаряют представленных им девушек. Мне она показалась, прежде всего, белокурой и немного крикливой. Она тут же начала суетиться вокруг нас: скоро я почувствовала усталость. Люк смотрел на нее, как на несчастье. Бертран выглядел немного смущенным, таким он мне нравился. Наконец я с облегчением оказалась в своей комнате. Кровать была очень высокой, с простынями из грубого полотна, у меня в детстве была такая. Я открыла окно, за которым шумели зеленые деревья, и сильный запах мокрой земли и травы наполнил комнату.

— Тебе тут нравится? — спросил Бертран.

Вид у него был растерянный и вместе с тем довольный. Я подумала, что для него этот уик-энд со мной в доме матери нечто весьма важное и сложное. Я улыбнулась ему:

— У тебя очень красивый дом. Что же касается твоей матери, я не знаю ее, но она производит приятное впечатление.

— Словом, тебе тут не так уж плохо. Кстати, я в комнате рядом.

Мы обменялись понимающими улыбками.

Мне очень нравились незнакомые дома, ванны с чернобелым кафелем, большие окна, сильные молодые мужчины. Бертран прижал меня к себе, нежно поцеловал. Его дыхание, манера целоваться — все было мне знакомо. Я не говорила ему о молодом человеке в кино. Ему это было бы неприятно. Мне самой теперь было неприятно. Немного стыдно было

вспоминать об этом, как-то и смешно и неловко, в общем довольно противно. В тот день после обеда я чувствовала себя веселой и свободной; больше я такой не была.

— Пойдем обедать, — сказала я Бертрону, который наклонился ко мне, чтобы поцеловать еще раз. Мне нравилось, когда он меня хотел. Зато я не очень нравилась сама себе. Стиль юной холодной дикарки — «Мои зубы белей, чем снег, мое сердце черней, чем ночь» — казался мне пригодным лишь для развлечения пожилых джентльменов.

Обед был смертельно скучным. Там действительно были друзья матери Бертрона: болтливая супружеская пара. За десертом муж — звали его Ришаром и был он президентом уж не знаю какого административного совета — не удержался, чтобы не начать классическую тему:

— Вот вы, девушка, тоже небось из этих несчастных экзистенциалисток? Нет, в самом деле, Марта, дорогая, — теперь он обращался к матери Бертрона, — не понимаю я этих разочарованных молодых людей. В их возрасте, черт побери, надо любить жизнь! В мое время мы не так уж часто балаганили, но, ей-богу, нам было весело!

Его жена и мать Бертрона засмеялись в знак согласия. Люк зевал, Бертран готовил никому не нужную речь. Франсуаза со своим обычным доброжелательством пыталась понять, почему же эти люди так скучны. Что же касается меня, уже в десятый раз я слушала, как порозовевшие и подвыпившие мсье, будучи в прекрасном расположении духа, мямят с наслаждением тем большим, чем меньше они понимают смысл, слово «экзистенциализм». Я не ответила.

— Мой дорогой Ришар, — сказал Люк, — боюсь, что балаганить только и можно в вашем возрасте, я хотел сказать — в нашем возрасте. Эти молодые люди занимаются не балаганами, а любовью. Это же хорошо. Для постоянного балагана нужны контора, писмоводитель...

Конец обеда прошел благополучно, все более или менее разговаривали, кроме Люка и меня; он единственный скучал так же сильно, как я, и я спросила себя, не назвать ли нашим первым тайным сговором эту одинаковую неспособность выносить скуку.

После обеда мы пошли на террасу, поскольку погода была прекрасная; Бертран отправился поискать виски. Люк вполголоса посоветовал мне не пить слишком много:

— Я в любом случае держу себя нормально, — ответила я обиженно.

— Я буду ревновать. Я хочу, чтобы ты напивалась и говорила глупости только со мной.

— А в остальное время что мне делать?

— Грустное лицо, как за обедом.

— А вы, — сказала я, — думаете, у вас было очень веселое лицо?.. Непохоже, что вы принадлежите к этому прекрасному поколению, несмотря на ваши слова.

Он засмеялся.

— Пойдем погуляем по саду.

— В темноте? А Бертран, а остальные...

Я совсем растерялась.



Он взял меня за руку и обернулся к остальным. Бертра-
рана, ушедшего за виски, еще не было. Я смутно предста-
вила себе, что, вернувшись, он пойдѣт нас искать, обнаружит
под каким-нибудь деревом и, может быть, убѣет Люка, как в
«Пелеасе и Мелисанде».

— Я увожу эту юную девушку на сентиментальную про-
гулку, — обратился он к присутствующим.

Не оборачиваясь, я услышала смех Франсуазы.

Он повел меня по аллее, вначале казавшейся светлой от
гравия, а затем исчезающей в темноте. Мне вдруг стало очень
страшно. Оказаться бы сейчас в доме моих родителей на бе-
регу Ионны.

— Я боюсь, — сказала я Люку.

Он не засмеялся и взял меня за руку. Мне захотелось,
чтобы он всегда был такой: молчаливый, в меру серьезный, на-
дежный и ласковый. Чтобы он никогда меня не оставлял, го-
ворил мне, что любит, берег бы, обнимал. Он остановился,
обнял меня. Я прижалась к его пиджаку, закрыла глаза. Все
последние дни были просто попыткой укрыться от этой ми-
нуты; от этих рук, приподнявших мое лицо, от губ, горячих
и нежных, словно созданных для моих. Он охватил ладонью
мое лицо и крепко сжал его, целуя меня. Я обняла его за шею.
Я боялась себя, его, всего, что тогда не случилось.

Я сразу же отчаянно полюбила его губы. Он не говорил
ни слова, только целовал меня, иногда приподнимая голову,
чтобы перевести дыхание. Я видела тогда в сумерках его
лицо, и рассеянное и сосредоточенное, похожее на маску. По-
том он снова очень медленно наклонялся ко мне. Скоро я пе-
рестала различать его лицо, я закрыла глаза, отдаваясь теплу,
заполнявшему виски, веки, гортань. Не поспешность, не не-
терпение желанья, но что-то новое, чего я не знала раньше,
поднималось во мне — прекрасное, неторопливое и волнующ-
щее.

Люк отстранился от меня, и я немного пошатнулась. Он
взял меня за руку и мы молча погуляли по саду. Я гово-
рила себе — пусть бы он целовал меня до рассвета, целовал
и больше ничего. Бертран быстро прекращал поцелуи: желание
делало их бесполезными в его глазах; они были не более чем
переход к удовольствию. Люк же заставил меня понять, что
они могут быть неисчерпаемыми, несущими наслаждение сами
по себе.

— У тебя великолепный сад, — улыбаясь, сказал Люк
своей сестре. — Жаль, уже поздно.

— Никогда не бывает слишком поздно, — сухо ответил
Бертран.

Он внимательно смотрел на меня. Я отвела глаза. Един-
ственное, чего я хотела — остаться одной в темноте своей
комнаты, чтобы вспомнить и понять те минуты в парке. Во
время общего разговора я как бы отложила их в сторону,
но меня все равно что не было; потом, с этим воспоминанием,
я поднялась в свою комнату. Лежа на постели с открытыми
глазами, я долго, снова и снова переживала происшедшее,
чтобы уничтожить его совсем или найти нечто главное. В этот
вечер я заперла дверь, но Бертран не постучался.

Утро тянулось медленно. Просыпаться было приятно и сладко, как в детстве. Но этот день не был одним из длинных, унылых, одиноких дней, прерываемых лекциями, которые обычно меня ждали: он был «другой» — из тех, когда мне нужно было играть свою роль и нести за нее ответственность. Эта ответственность, эта необходимость действовать вначале так придавила меня, что я снова и снова зарывалась в подушку, чувствуя себя больной. Потом вспомнила о вчерашнем вечере, о поцелуях Люка, и что-то теплое, щемящее раскрылось во мне.

Ванная комната была изумительной. И вот, сидя в воде, я принялась бодро напевать в ритме джаза: «А теперь час пришел, час пришел — окончательно решить, мне решить». Кто-то с силой постучал в перегородку.

— Можно дать поспать порядочным людям?

Голос был веселый, голос Люка. Родись я на десять лет раньше, до Франсуазы, — мы могли бы жить вместе, и по утрам он бы шутливо мешал мне спать, и мы могли бы спать вместе, и были бы счастливы долго-долго, вместо того чтобы оказаться, как сейчас, в тупике. Это был действительно тупик, и, может быть, поэтому-то мы в него и не углублялись, изображая при этом безразличие. Надо было избегать Люка, уехать.

Я вышла из ванной.

Но найдя мягкий, пушистый пеньюар, отдававший немало старыми шкапами загородных домов, и закутавшись в него, я сказала себе, что, следуя здравому смыслу, нужно пустить все на самотек, не анализировать без конца, а быть спокойной и смелой. Я мурлыкала себе это под нос, не очень веря в свои слова.

Я примерила полотняные брюки, купленные перед отъездом, и посмотрелась в зеркало. Я не понравилась себе: острые черты лица, неудачная прическа, любезный вид. Мне нравились правильные лица, обрамленные косами — такие бывают у молодых девушек с печальными глазами, заставляющими мужчин страдать, лица строгие и вместе с тем чувственные. Если откинуть голову немного назад, вид у меня, пожалуй, был сладострастный, но какая женщина в такой позе выглядит иначе? Кроме того, брюки были просто смешны, они были слишком узкие. Ни за что на свете я не спущусь вниз в таком виде. Эти приступы отчаяния были мне хорошо знакомы; мой собственный вид до того меня раздражал, что теперь уже целый день у меня будет отвратительное настроение, если я все-таки решусь выйти к столу.

Но вошла Франсуаза и все уладила.

— Моя маленькая Доминика, вы сегодня очаровательны. Такая юная, яркая. Вы просто живой упрек мне.

Она присела на край постели и посмотрела на себя в зеркало.

— Почему упрек?

Она ответила, не глядя на меня.

— Ем слишком много пирожных под предлогом, что люблю их. И к тому же эти морщины, вот здесь.

У нее были довольно заметные морщины в уголках глаз. Я погладила их указательным пальцем:

— А мне они кажутся восхитительными, — ласково сказала я. — Надо прожить много ночей, побывать во многих странах, увидеть много лиц, чтобы получить эти две крошечные черточки... Вам они идут. И потом, они оживляют лицо. Я не знаю, но, по-моему, это красиво, выразительно, это волнует. Я терпеть не могу гладкие лица.

Она засмеялась:

— Чтобы меня утешить, вы готовы спровоцировать банкротство института красоты. Какая вы милая, Доминика. Ужасно милая.

Мне стало стыдно.

— Не так уж я мила, как вы думаете.

— Я вас обидела? Молодые люди так боятся быть милыми. Но вы никогда не говорите ничего неприятного или несправедливого. И вы любите людей. Так вот, я нахожу, что вы — совершенство.

— Всего нет.

Как давно мне не доводилось говорить о себе. Я много практиковалась в этом виде спорта до семнадцати лет. А потом немного устала от него. Я только потому и могла заинтересоваться собой и полюбить себя, что Люк любил меня и интересовался мной. Идиотская мысль.

— Я преувеличиваю, — сказала я вслух.

— И вы невероятно рассеянны, — сказала Франсуаза.

— Потому что никого не люблю, — ответила я.

Она посмотрела на меня. Откуда взялось это искушение? Сказать ей: «Франсуаза, я могла бы полюбить Люка, но вас я тоже очень люблю, возьмите его, увезите его».

— А Бертран? Действительно все кончено?

Я пожала плечами:

— Я его больше не вижу. Я хочу сказать: больше на него не смотрю.

— Может быть, вы должны сказать ему об этом?

Я не ответила. Что сказать Бертрану? «Я больше не хочу тебя видеть?» Но мне как раз было приятно его видеть. Я очень хорошо к нему относилась. Франсуаза улыбнулась:

— Понимаю. Все не так просто. Идемте завтракать. На улице Кумартен я видела прелестный свитер к этим брюкам. Мы вместе пойдем, посмотрим его и..

Спускаясь по лестнице, мы весело болтали о туалетах. Я не испытывала страсти к подобным темам, но лучше говорить об этом, чем о чем-нибудь другом, лучше подыскивать какие-то определения, ошибаться, вызывая ее негодование, смеяться. Внизу Люк и Бертран завтракали. Они говорили о купании.

— Давайте поедem в бассейн?

Это сказал Бертран. Должно быть, он думал, что в лучах весеннего солнца будет выглядеть лучше, чем Люк. А может быть, у него и не было столь низменных мыслей?

— Блестящая идея. Я заодно поучу Доминику водить машину.

— Без глупостей, без глупостей, — сказала мать Бертрана, входя в комнату в роскошном халате. — Вы хорошо спали? А ты, малыш?

Бертран смутился. Он напустил на себя важный вид, который ему совершенно не шел. Мне он нравился веселым. Всегда приятно видеть веселыми людей, которым мы причинили огорчение. Это меньше расстраивает.

Люк поднялся. Он явно не выносил присутствия своей сестры. Меня это смешило. Мне тоже случалось чувствовать физическую неприязнь, но я вынуждена была это скрывать. Было что-то детское в Люке.

— Я пойду наверх, возьму свои плавки.

Все начали суматошно собираться. Наконец мы были готовы. Бертран поехал с матерью в машине ее друзей, и мы оказались втроем.

— Поезжай, — сказал Люк.

У меня были некоторые, хотя и смутные представления о вождении — сейчас они мнегодились. Люк сидел рядом со мной, а сзади Франсуаза что-то говорила, не чувствуя опасности. И снова меня охватила тоска по тому, что могло бы быть: долгие путешествия и Люк рядом со мной, дорога, освещенная фарами, ночь, моя голова на плече у Люка, Люк, такой уверенный за рулем, такой быстрый. Рассветы где-нибудь за городом, сумерки на море...

— Знаете, я никогда не видела моря...

Это был вопль негодования.

— Я тебе его покажу, — мягко сказал Люк.

И, обернувшись ко мне, улыбнулся. Как будто пообещал. Франсуаза, не расслышав его слов, продолжала:

— В следующий раз, когда мы поедem, Люк, надо будет взять ее с собой. Она будет повторять: «Вот это вода, ну и вода!»

— Я, наверное, сначала выкупаюсь, — сказала я. — А говорить буду потом.

— А знаете, это действительно очень красиво, — сказала Франсуаза. — Желтые пляжи с красными скалами и вся эта синяя вода, настагающая тебя сверху...

— Обожаю твои списания, — сказал Люк, смеясь: — желтое, синее, красное. Как школьница. Как юная школьница, конечно, — добавил он извиняющимся тоном, оборачиваясь ко мне. — Бывают ведь и старые школьницы, очень очень сведущие во всем. Поверните налево, Доминика, если сможете...

Я смогла. Мы подъехали к поляне. Посредине был большой бассейн с прозрачной голубой водой, при взгляде на нее мне заранее стало холодно.

Надев купальники, мы быстро пошли к краю бассейна. Я встретила Люка, когда он выходил из кабинки: вид у него был недовольный. Я спросила его — почему, и он улыбнулся немного смущенно:

— Не слишком я красив.

И в общем он был прав. Высокий, худой, сутуловатый, отнюдь не смуглый. Но вид у него был такой несчастный, он так старательно держал перед собой полотенце — мо как мальчишка-подросток — что я умилилась.

— Идемте, идемте, — сказала я весело, — не так вы безобразны, как вам кажется!

Он искоса взглянул на меня, чуть ли не шокированный, потом рассмеялся.

— А ты становишься непочтительной!

Потом он разбежался и бросился в воду. Он сразу же вынырнул с отчаянными криками, и Франсуаза села на край бассейна. Она выглядела лучше, чем в одежде, и напоминала одну из луврских статуй.

— Зверски холодно, — сказал Люк, высунув голову из воды. — Надо быть сумасшедшим, чтобы купаться в мае.

— В апреле о купании не может быть и речи. А в мае — делай что хочешь, — наставительно произнесла мать Бертрана.

Но стоило ей попробовать воду ногой, как она сразу пошла одеваться. Я посмотрела на эту радостную, щебечущую группу вокруг бассейна, незагорелую, взбудораженную, и меня охватило какое-то тихое веселье, и в то же время не давала покоя вечная мысль: «Причем здесь я?»

— Будешь купаться? — спросил Бертран.

Он стоял передо мной на одной ноге, и я смотрела на него с одобрением. Я знала, что каждое утро он упражняется с гантелями: однажды мы вместе проводили уик-энд и, приняв мою дремоту за глубокий сон, он на рассвете начал делать перед окном всякие упражнения; глядя на него, я втихомолку смеялась до слез, но он, видимо, считал, что выполняет их отменно. Сейчас Бертран выглядел очень чистеньким и здоровым.

— Это для нас возможность отполировать кожу, — сказал он. — Ты посмотри на остальных.

— Идем в воду, — сказала я. Я боялась, как бы он не пустился в раздраженные разглагольствования о своей матери, поскольку она выводила его из себя.

С огромным отвращением я окунулась в воду, проплыла вокруг бассейна, чтобы не уронить достоинства, и вышла, дрожа от холода. Франсуаза растерла меня полотенцем. Я подумала, почему у нее нет детей — ведь она создана для материнства — широкобедрая, пышнотелая, нежная. Как жаль.

Глава 7

Через два дня после этого уик-энда, в шесть часов вечера, я встретилась с Люком. Мне казалось, что теперь между нами всегда будет стоять что-то неизмеримое, непоправимое, препятствующее малейшей попытке сделать еще какую-нибудь глупость. Я даже была готова, подобно юной деве XVII века, требовать от него извинений за поцелуй.

Мы встретились в баре ча набережной Вольтера. К моему удивлению, Люк был уже там. Он очень плохо выглядел, на-



зался усталым. Я села рядом с ним, и он сразу заказал два виски. Потом спросил, как обстоит дело с Бертраном.

— Все в порядке.

— Он страдает?

Он спросил это без насмешки, но спокойно.

— Почему страдает? — глупо спросила я.

— Он же не дурак.

— Не пойму, почему вы говорите со мной о Бертрране.

Это... м-м-м...

— Это второстепенно?

На этот раз вопрос был задан в ироническом тоне. Я вышла из терпения:

— Это не второстепенно, но, в конце концов, не так уж серьезно. Уж если говорить о серьезных вещах, поговорим о Франсуазе.

Он засмеялся:

— Подумай, как забавно получается. В историях такого рода... ну, скажем, партнер другого кажется нам препятствием более серьезным, чем наш собственный. Конечно, плохо так говорить, но когда знаешь кого-нибудь, то знаешь и его манеру страдать, и она кажется вполне приемлемой. Вернее нет, не приемлемой, но знакомой, а значит не такой ужасной.

— Я плохо знаю манеру Бертррана страдать...

— У тебя просто не было времени. А я вот уже десять лет женат и хорошо изучил, как страдает Франсуаза. Это очень неприятно.

Мы замолчали на какой-то момент. Каждый из нас, наверно, представлял себе Франсуазу страдающей. Мне она виделась отвернувшейся к стене.

— Это идиотизм, — сказал наконец Люк. — Видишь ли, все куда сложнее, чем я думал.

Он выпил виски, запрокинув голову. У меня было такое чувство, будто я сижу в кино. Я говорила себе, что не время смотреть на все со стороны, но ощущение нереальности осталось. Люк здесь, он решит, как быть, все будет хорошо.

Немного наклонившись вперед, он равномерным движением поворачивал стакан в руках. Говорил он, не глядя на меня.

— Разумеется, у меня были связи. Для Франсуазы большей частью неизвестные. Кроме нескольких неудачных случаев. Но это всегда было несерьезно.

Он выпрямился, вид у него был рассерженный.

— С тобой, кстати, это тоже не очень серьезно. Ничего серьезного не может быть. Ничего не стоит Франсуазы.

Я слушала без всякой боли, сама не зная почему. Мне казалось — я сижу на лекции по философии, не имеющей ко мне никакого отношения.

— Но разница есть. Сначала я хотел тебя, как любой мужчина моего склада может хотеть молодую девушку, гибкую, упрямую и несговорчивую... Впрочем, я тебе это говорил. Я хотел приручить тебя, провести с тобой ночь. Я не думал...

Он вдруг повернулся ко мне, взял мои руки в свои и стал говорить с нежностью. Я видела его лицо очень близко каждую его черточку. Я слушала его, боясь дышать, превратилась в слух, освободившись, наконец, от самой себя. Внутреннего голоса слышно не было.

— Я подумать не мог, что могу тебя уважать. Я очень уважаю тебя, Доминика, и очень тебя люблю. Я никогда не буду любить тебя «по-правдашнему», как говорят дети, но мы очень похожи с тобой, ты и я. Я хочу не просто переспать с тобой, я хочу жить вместе с тобой, провести с тобой отпуск. Мы дали бы друг другу радость и нежность, со мной у тебя будет море, и деньги, и что-то похожее на свободу. Мы бы меньше скучали вдвоем. Вот так.

— Я тоже хотела бы этого, — сказала я.

— Потом я вернусь к Франсуазе. Чем ты рискуешь? Привязаться ко мне, а потом страдать? Ну и что из того? Это лучше, чем скучать. Лучше быть счастливой или несчастной, чем вообще ничего, ведь так?

— Конечно, — сказала я.

— Чем ты рискуешь? — повторил Люк, будто убеждал самого себя.

— И потом — страдать, страдать, не надо ничего преувеличивать, — вставила я. — У меня не такое уж нежное сердце.

— Вот и хорошо. Посмотрим, подумаем. Поговорим о чем-нибудь другом. Хочешь еще выпить?

Мы выпили за наше здоровье. Мне было ясно одно — кажется, мы уедем вдвоем на машине, как я уже представляла себе, но считала невозможным. Потом я что-то придумаю, чтобы не привязаться к нему — ведь заранее известно, что все пути отрезаны. Не так уж я глупа.

Мы гуляли по набережным, Люк смеялся вместе со мной, болтал. Я тоже смеялась, я говорила себе, что с ним надо всегда смеяться, и, в общем, ничего не имела против. «Смех сопутствует любви», — утверждает Ален. Но в данном случае речь шла не о любви, только о соглашении. Кроме всего прочего, я, наконец, была почти горда собой: Люк думает обо мне, уважает меня, хочет меня: я имела право считать себя до некоторой степени интересной, вызывающей уважение, желанной. Маленький страж моей совести, показывающий мне всякий раз, когда я начинаю думать о себе, образ довольно невзрачный, возможно, был слишком суров, слишком пессимистичен.

Расставшись с Люком, я пошла в бар и вышла еще виски на все четыреста франков, оставленные на завтрашний обед. Через десять минут мне стало чудесно, я чувствовала себя нежной, доброй, веселой. Мне необходим был кто-то, кому я могла бы, для его же пользы, объяснить все жестокое, нежное и горькое, что я знаю о жизни. Я могла бы говорить часами. Бармен был любезен, но заинтересованности не проявлял. Так что я отправилась в кафе на улицу Сен-Жак. Там я встретила Бертрана. Он был один; перед ним уже стояло несколько пустых рюмок. Я села около него; он обрадовался, увидев меня.

Утром я лежала рядом с ним, он спал. По-видимому, было еще рано; мне больше не спалось, и я говорила себе, что, как и он, погруженный в сон, я тоже как будто не здесь. Мое настоящее «я» было очень далеко отсюда, за пригородными домиками, деревьями, полями, детством, неподвижное, в конце какой-то аллеи. Как будто девушка, склонившаяся над этим соней, только бледное отражение моего «я», — спокойного, безжалостного, от которого, впрочем, я уже отделилась, чтобы начать жить. Как будто своему вечному «я» предпочитала собственную жизнь, оставив эту статую в конце аллеи, в сумерках — и на плечах ее, словно птиц, множество жизней, возможных и отвергнутых.

Я потянулась, оделась... Проснулся Бертран, о чем-то спросил, зевнул, провел рукой по щекам и подбородку, пожаловался на отросшую щетину. Я договорилась с ним на вечер и возвратилась к себе, чтобы позаниматься. Но — на-жрасно: было невыносимо жарко, время приближалось к полудню, а я должна была завтракать с Люком и Франсуазой. Я вышла купить сигарет, вернулась, стала закуривать и вдруг остро почувствовала, что за все сегодняшнее утро не было ничего, кроме неясного инстинктивного желанья сохранить свои прежние привычки. Ничего, ни одной минуты!.. Да и могло ли быть иначе? Я не верила в радостные улыбки едущих в автобусе людей, в бьющую через край жизнь городских улиц, и я не любила Бертрана. Мне необходим был кто-нибудь или что-нибудь. Я так и сказала себе, закуривая сигарету, почти в полный голос: «Кто-нибудь или что-нибудь», и мне самой это показалось мелодраматичным. Мелодраматичным и нелепым. Подобно Катрин, я переживала приступ сентиментального отчаяния. Я любила любовь и слова, имеющие к ней отношение: нежный, жестокий, ласковый, доверчивый, непомерный, — и я никого не любила. Разве что Люка, когда он был рядом. Но я не решалась думать о нем после вчерашнего. Мне не хотелось снова испытывать такое чувство, будто я от него отказалась, чувство, подступавшее к горлу всякий раз, когда я о нем вспоминала.

Я ждала Люка и Франсуазу, как вдруг почувствовала странное головокружение, — пришлось немедленно идти в туалет. Когда все прошло, я подняла голову и посмотрела в зеркало. «Итак, — сказала я вслух, — случилось!». Снова начинался этот кошмар, я хорошо знала это состояние, хотя часто пугалась напрасно. Но на этот раз... А может, причина во вчерашнем виски и волноваться не из-за чего. Я лихорадочно обдумала этот вопрос сама с собой, глядя в зеркало с любопытством и насмешкой. Несомненно, я была в ловушке. Скажу об этом Франсуазе. Не может быть, чтобы Франсуаза не помогла мне из нее выбраться.

Но Франсуазе я ничего не сказала. Не хватило духу. И потом, за завтраком, Люк заставил нас выпить; тогда я немного забыла об этом, уговорила сама себя.

На следующий день после этого завтрака началась неделя такого преждевременного лета, что я даже представить

себе не могла ничего подобного. Я ходила по улицам, потому что в комнате было невыносимо — такая там была духота. Я туманно расспрашивала Катрин о возможных выходах из положения, не решаясь ей ничего открыть. Я не хотела больше видеть Люка, Франсуазу, этих свободных и сильных людей. Я чувствовала себя, как больное животное. Иногда меня одолевали приступы дурацкого нервного смеха. Ни планов, ни сил. К концу недели я уверилась, что у меня будет ребенок от Бертрана, и немного успокоилась. Надо было действовать.

Но накануне экзаменов выяснилось, что я ошиблась, что все это действительно был только кошмар, и письменный я сдавала, улыбаясь от облегчения. Просто в течение десяти дней я думала только об этом, и теперь с восхищением открывала для себя все остальное. Снова все стало возможным и радостным. Однажды ко мне случайно зашла Франсуаза, ужаснулась невыносимой духоте, предложила готовиться к устному у них. Теперь я занималась, лежа на белоснежном ковре в их квартире с полупущенными жалюзи, одна. Франсуаза возвращалась к пяти часам, показывала покупки, без особой настойчивости пыталась спрашивать меня по программе, и все это кончалось шутками. Приходил Люк, смеялся вместе с нами. Мы шли обедать в какое-нибудь открытое кафе, они отвозили меня домой. Однажды Люк вернулся до прихода Франсуазы, вошел в комнату, где я занималась, опустился на ковер возле меня. Он взял меня на руки и тут же, над моими разложенными тетрадками, поцеловал, не говоря ни слова. Его губы я ощутила так, будто других губ и не знала, будто все пятнадцать дней только о них и думала. Потом он сказал, что напишет мне во время моих каникул и что, если я захочу, мы с ним поедем куда-нибудь на неделю. Он гладил мне затылок, искал мои губы. Мне захотелось остаться вот так, не поднимая головы с его плеча, до самой ночи, тихонько жалуюсь, быть может, на то, что мы не любим друг друга. Учебный год кончился.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

Дом был длинный, серого цвета. Луга спускались к зеленоватой Ионне, застывшей среди камышей и маслянистых протоков. Над водой летали ласточки и тополиный пух. Один из тополеи мне особенно нравился, я любила лежать возле него. Я вытягивалась, упираясь ступнями в ствол, забывалась, глядя на ветки — высоко надо мной их раскачивал ветер. Земля пахла нагретой травой, я подолгу наслаждалась всем этим, наслаждалась вдвойне из-за ощущения полной слабленности. Я знала, как выглядит этот пейзаж в дождь и в зной. Знала его до Парижа, до его улиц, Сены и мужчин: он не менялся.

Я много читала, потом медленно поднималась в гору, шла домой, чтобы поест. Моя мать, пятнадцать лет назад

потерявшая сына при довольно трагических обстоятельствах, страдала неврастенией, которой быстро пропитался весь дом. В этих стенах благоговели перед грустью. Мой отец ходил по дому на цыпочках и носил за матерью ее шали.

Бертран мне писал. Он прислал мне странное письмо, путаное, полное намеков на последнюю ночь, проведенную вместе после вечера в «Кентукки», ночь, когда, по его словам, он не проявил должного уважения ко мне. Я, однако, не заметила, чтобы он прсывил ее меньше, чем обычно, и, поскольку в этом смысле наши отношения были совершенно просты и удовлетворяли обоих, я долго размышляла, на что же он намекает. Наконец я поняла, что он пытался соединить нас прочной цепью, искал ее и в результате выбрал довольно непрочную — эротику. Сначала я рассердилась на него — зачем он усложняет то, что было между нами самым радостным и, в общем, самым чистым; я не понимала, что в определенных случаях предпочитают даже самое худшее — лишь бы не быть заурядным, лишь бы не сделать того, что от тебя ждут. А для него и заурядность, и необходимость вести себя именно так, как от него ждали, были связаны с тем, что я его больше не любила. И при этом я понимала, что жалеет он только обо мне, а не о нас обоих, потому что после этого месяца «нас» уже не существовало, и это еще больше меня огорчало.

От Люка не было вестей целый месяц: только очень милая открытка от Франсуазы, которую подписал и он. С дурацкой гордостью я повторяла себе, что не люблю его: я не страдала от его отсутствия — какие еще нужны доказательства? Мне не приходило в голову, что, действительно разлюбив его, я не торжествовала бы, а, напротив, чувствовала бы себя униженной. Впрочем, все эти премудрости меня раздражали... Я так хорошо держала себя в руках.

И потом, я любила этот дом, где должна была бы так скучать. Я и скучала, но скукой приятной, а не вызывающей стыд, как в Париже. Я была очень любезна и внимательна ко всем, мне нравилось быть такой. Бродить по комнатам, по лугам, чувствовать, что больше ни на что не способна, — какое это облегчение! Неподвижно лежа, покрываться легким загаром, ждать, без ожидания, конца каникул. Читать. Каникулы похожи были на длинный урок, вязкий и бесцветный.

Наконец пришло письмо от Люка. Он писал, что приедет в Авиньон 22 сентября. Там будет ждать моего приезда либо письма. Я тут же решила ехать, и прошедший месяц показался мне воплощением простоты. Да, это, несомненно, Люк, его спокойный тон, этот нелепый и неожиданный Авиньон, это кажущееся отсутствие интереса. Я наврала родителям, написала Катрин — пусть состряпает мне какое-нибудь приглашение в гости. Она тут же прислала его вместе с другим письмом, в котором удивлялась, почему я не еду на побережье, ведь там Бертран со всей компанией. Мое недоверие ее очень огорчило: она ничем решительно его не заслужила! Я коротко поблагодарила ее и приписала, что, если ей хочется причинить Берtrandу боль, достаточно будет показать ему мое

письмо... что она, кстати, и сделала — разумеется, из жестких чувств к нему.

21 сентября, почти налегке, я отправилась в Авиньон, который, к счастью, расположен на пути к Лазурному побережью. Родители провожали меня на вокзал. Я рассталась с ними, чуть не плача, непонятно почему. Впервые мне показалось, что кончилось детство, родительская опека... Я заранее ненавидела Авиньон.

Из-за молчания Люка, из-за его небрежного письма я стала представлять его себе довольно равнодушным и черствым, в Авиньон я приехала настороженная, в настроении, весьма неподходящем для так называемого любовного свидания. Я согласилась на поездку с Люком не потому, что он меня любил или я его любила. Я согласилась на нее потому, что мы говорили на одном языке и нравились друг другу. Думая об этом, я посчитала эти причины незначительными, а саму поездку ужасной.

Но Люк удивил меня в который уже раз. Он стоял на платформе, весь напряженный, и, увидев меня, очень обрадовался. Я вышла из вагона, он крепко обнял меня и нежно поцеловал.

— Ты прекрасно выглядишь. Как я рад, что ты приехала.

— Вы тоже, — сказала я, имея в виду его внешность. Он действительно выглядел подтянутым, загорел и был гораздо красивее, чем в Париже.

— Ты знаешь, нет никакого смысла оставаться в Авиньоне. Давай двинемся к морю, раз уж мы для этого приехали. А там видно будет.

Его машина стояла у вокзала. Он закинул мой чемодан в багажник, и мы отправились. Я совершенно отупела и, наперекор здравому смыслу, была немного разочарована. Я не помнила его ни таким соблазнительным, ни таким веселым.

Дорога была прекрасная, обсаженная платанами. Люк курил, и мы мчались к солнышку, опустив верх. Я думала: «Ну вот, это в самом деле я, здесь и сейчас». И ничего при этом не чувствовала, совсем ничего. Я могла бы с таким же успехом сидеть под своим тополем с книгой. Эта прострация, в конце концов, меня даже развеселила. Я повернулась и попросила сигарету. Он улыбнулся:

— Полегче стало?

Я засмеялась.

— Полегче. Я потихоньку спрашиваю себя, что это я делаю тут с вами, вот и все.

— Ничего не делаешь, едешь, куришь, спрашиваешь себя, не соскучишься ли. Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловал?

Он остановил машину, обнял меня за плечи и поцеловал. Для нас это был чудесный способ опять почувствовать друг друга. Чуть улыбаясь, я ощутила его губы, и мы поехали дальше. Люк держал меня за руку. Он хорошо меня чувствовал. Я два месяца прожила среди полужужих людей, застывших в печали, которой я не разделяла, и мне казалось, что мало-помалу жизнь начинается снова.

Море было удивительно; на секунду я пожалела, что Франсуаза не с нами, а то бы я сказала ей, что оно действительно синее, с красными скалами, песок желтый, и что все это было очень точно увидено ею. Я немного боялась, что Люк начнет показывать мне море с торжествующим лицом, исподтишка следя за моей реакцией, — тогда мне придется отвечать прилагательными и делать восхищенное лицо; но он просто указал на него пальцем, когда мы приехали в Сен-Рафаэль:

— Вон море.

И в сумерках мы медленно проехали вдоль берега, а море рядом с нами постепенно бледнело, становилось серым. В Каннах Люк остановил машину на улице Круазетт, у гигантского отеля, вестибюль которого привел меня в ужас. Я понимала — мне только тогда станет хорошо, когда я забуду об этой роскоши, о лакеях, научусь относиться к ним, как к существам привычным, безопасным, не обращающим на меня внимания. Люк долго объяснялся с высокомерным человеком за стойкой. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Он это почувствовал и, когда мы пересекали холл, положил мне руку на плечо, показывая дорогу. Комната была огромная, почти белоснежная, с двумя застекленными дверьми, выходившими на море. Суэта носильщиков, чемоданы, открытые окна, шкафы. Посередине — я, опустив руки, злясь на собственную неспособность что-то ощущать.

— Ну вот, — сказал Люк.

Он с удовлетворением оглядел комнату, перегнулся через перила.

— Иди, посмотри.

Я облокотилась рядом с ним, на приличном расстоянии. Мне совершенно не хотелось ни смотреть в окно, ни фамиллярничать с этим не слишком хорошо знакомым человеком. Он взглянул на меня.

— Ну, ты снова стала дикой. Иди, прими ванну, потом выпьем вместе. Комфорт и алкоголь — это, по-видимому, единственное, что способно тебя развеселить.

Он оказался прав. Переодевшись, я пришла и стала рядом с ним со стаканом в руке, наговорила тысячу комплиментов ванной комнате и морю. Он сказал мне, что я дивно выгляжу. Я ответила ему, что он тоже, и мы, довольные друг другом, стали глядеть на пальмы и толпу. Потом он ушел переодеться, оставив мне второй стакан виски, и я, напевая, расхаживала босиком по толстому плюшу.

Обед прошел хорошо. Мы говорили о Франсуазе и Бертроне, прочувствованно и нежно. Я сказала, что очень не хотела бы встретиться здесь с Бертраном, но Люк ответил — мы обязательно наткнемся на кого-нибудь, кто не откажет себе в удовольствии рассказать все и ему, и Франсуазе, и у нас будет достаточно времени «расхлебывать кашу», когда мы вернемся. Я была тронута тем, что он пошел на такой риск. Я сказала ему об этом, зевая, потому что до смерти хотела спать. Еще я сказала, что мне нравится, как он смотрит на вещи:

— Замечательно. Уж если вы решили что-то сделать, вы делаете это, заранее принимаете все последствия, ничего не боитесь.

— А чего мне, по-твоему, бояться? — сказал он с неприятной грустью. — Бертран меня не убьет. Франсуаза не оставит. Ты не полюбишь.

— Может быть, Бертран убьет меня, — ответила я, за-
детая.

— Для этого он слишком симпатичный. Впрочем, все симпатичные.

— Злые люди еще скучнее. Ведь это вы мне говорили.

— Ты права. И потом, поздно уже, пойдем, пора спать.

Он сказал это очень просто. В наших разговорах не было ничего любовного, но это «пойдем, пора спать» показалось мне все же несколько бесцеремонным. Сказать по правде, я боялась, я очень боялась предстоящей ночи.

В ванной я дрожащими руками надела пижаму. Я была немного похожа в ней на школьницу, но другой у меня не было. Когда я вошла, Люк уже лег. Он курил, повернувшись лицом к окну. Я скользнула в постель рядом с ним. Он спокойно потянулся ко мне, взял мою руку в свою. Меня трясло.

— Сними пижаму, глупышка, ты ее помнешь. Тебе холодно в такую ночь? Ты больна?

Он притянул меня к себе, осторожно снял пижаму, бросил на пол. Я заметила, что она все-таки помнется. Он тихо засмеялся. Каждое его движение было полно необыкновенной нежности. Он спокойно целовал мне плечи, губы, продолжая говорить:

— Ты пахнешь теплой травой. Тебе нравится эта комната? Если нет, тогда уедем. Канны все-таки приятный город...

Я сдавленно отвечала: «Да, да». Мне очень хотелось, чтобы уже было завтрашнее утро. Но когда он немного отстранился от меня и положил руку мне на бедро, сердце у меня забилось. Он ласкал меня, а я целовала его шею, грудь, всю эту тень, черную на фоне неба, видневшегося сквозь застекленную дверь. Наконец ноги наши переплелись, я обняла его: наше дыхание смешалось. Потом я уже не видела ни его, ни неба Кани. Я умирала, я должна была умереть и не умирала, я теряла сознание. Все остальное ничего не стоило: как можно было никогда этого не знать? Когда мы оторвались друг от друга, Люк открыл глаза и улыбнулся мне. Я тотчас заснула, положив голову на его руку.

Перевод с французского Аллы БОРИСОВОЙ

Окончание следует

Владимир БЕКАУРИ

Его года — его богатство

УЧИТЕЛЬ пения вошел в класс, на несколько секунд опережая звонок. Пронзительно оглядел ряды парт. Это было в его обычае — появляться неожиданно, в надежде застать учеников за каким-либо недозволенным занятием. Но повторяющееся изо дня в день перестает быть неожиданностью: они встретили учителя уже стоя, руки по швам — воплощенное смирение, полная готовность повиноваться. Впрочем, внимательный сторонний наблюдатель, окажись он здесь в это время, уловил бы в детских глазах, кроме напускной туповатой покорности, еще и нечто вроде злорадного ожидания: сейчас сморщенное скопческое личико преподавателя разочарованно вытянется — не к чему придрататься... Однако класс ошибся.

— Ну-ка, встань... Ты! — учитель был тощ, мал ростом, и потому баритональный бас, которым наделила его природа, казался исходящим от кого-то другого. — Поднимись, Иван Кочламазашвили, собери книжки — и чтобы духу твоего здесь больше не было!.. Яблоко от яблони недалеко падает, — загадочно резюмировал он. — Смутьян!

И начал переключку.

— Так в 1911 году — ровно семьдесят лет назад! — я был зачислен в «смутьяны», — засмеялся Иван Васильевич. — Вы не ошиблись, тогда мне было девять...

В ту, первую встречу с ним меня, признаться, удивила способность старого человека этак вот на ходу улавливать по мимолетному выражению лица собеседника (а я и впрямь машинально высчитывал, в каком же возрасте он был) ход его мыслей. Теперь, когда мы виделись и беседовали уже не раз, — больше не удивляет.

Недоумение, постигшее учеников Тифлисской железнодорожной школы в связи со скоропалительным изгнанием однока-

шника, известного, как водится среди мальчишек, не столько по имени и фамилии, сколько по сочному прозвищу — «Коч-Коч», быстро рассеялось. Стало известно, что отец, Владимир паровозного депо, был с поличным пойман жандармом на месте преступления, когда отворачивал гайки, крепящие трубу паровоза... К счастью, верный слуга царя и отечества (в те беспокойные годы все крупные предприятия кишели жандармами) слишком плохо разбирался в технике, чтобы суметь доказательно обвинить рабочего в попытке к диверсии. Поэтому Василия Кочламазашвили не арестовали — просто выгнали из депо на все четыре стороны. Между тем он выполнял задание большевистского подполья.

Крестьянский сын Василий Кочламазашвили покинул родное село Бодбе, что в Сигнахском районе, гонимый нуждой: и двухлетний Иван стал горожанином. В Тифлисе его отец с помощью новых друзей (ведь хорошему человеку искать таких не надо — они его сами находят) построил себе жилище, которое можно было назвать «домом» разве лишь с целью доставить хозяину удовольствие: крыша, стены да полторы комнаты. Но это не мешало тайно собираться здесь революционно настроенным рабочим, чтобы делиться наболевшим, ругательно ругать кровососов-фабрикантов и — поначалу смутно, неуверенно, ощупью, а со временем все более предметно, с крепнущей надеждой — мечтать о будущем. Тифлис становился одним из центров революционного движения пролетариата. Здесь, в городе сделавшихся впоследствии знаменитыми бывших железнодорожных мастерских и авлабарской типографии, нашли благодатную почву ростки марксистского учения, здесь в назначенный историей срок зазвучали великое имя «Ленин» и другие славные имена — последователей, учеников, соратников Ильича по борьбе. И не один из них непосредственно в этих прокопченных, промазутченных цехах будущего Тбилисского электровагоноремонтного завода имени Сталина, в труде, полном смертельного риска и освященном верностью ленинским идеям, приближал день, когда грянет «последний и решительный».

Пугающе непонятно, зато на всю жизнь запечатлелись в детской памяти осколки событий кровавого и гордого 1905-го — свист казачьих нагаек, темные, вздымающиеся живые глыбы коней... Пс-книжному несостоятельно прсзвучало бы утверждение, что с малых лет сознание Ивана Кочламазашвили формировалось в обстановке активизации революционного движения в России, точнее — в одной из ее колониальных окраин. Какое уж там сознание у трех- и даже девятилетнего «Коч-Коча»! И потом: да если б это было возможно — с самого начала видеть со стороны и осмысливать себя в связи со средой, с событиями, определяющими наше будущее, то ведь лучшего и не пожелаешь! Ведь мы бы тогда сами могли это будущее конструировать и направлять. Или, во всяком случае, во многом предвидеть...

Однако факты — вещь, как известно, упрямая — что было, того не вычеркнешь.

А была горькая детская обида на несправедливость школьного начальства. И еще более горькой была жестокая необходи-

мость ему — девятилетнему-то! — начинать взрослую трудовую жизнь.

Василию Кочламазашвили пришлось перебиваться ными заработками, и сын в меру сил помогал ему слесарничать. Позже отец отдал мальчика в ученики знакомому пенсионеру по инвалидности Аполлону Горлину. Повезло: в хорошие руки попал. Был Горлин человеком добрым, спокойным и мастером на все руки. У него Иван учился ремеслам токаря и слесаря, хотя, как положено, приходилось и на побегушках быть. Зато к началу первой мировой войны он числился уже самостоятельным работником — по-прежнему оставался в «мастерской» Горлина, но теперь старик держал его уже на сдельщине.

Дальше были годы труда на разных частных предпринимателей. И настало 25 февраля 1921 года, и уже в одиннадцать часов этого дня рабочий, сын крестьянина, сделавшегося рабочим, Иван Кочламазашвили записался в Красную Гвардию, чтобы «защищать родную Советскую власть от буржуев, помещиков, меньшевиков и их приспешников». А вскоре стал комсомольцем.

Воссоединились прежде разрозненные звенья цепи. Всему нашлось свое место: и цепко занозившим память осколкам детских впечатлений от казачьих расправ над рабочими, и вопиющей несоразмерности наказания за отцовскую вину, и ноющей боли в натруженных неокрепших руках, и через силу подавляемой ненависти к паукам-эксплуататорам, частникам, на которых многие годы пришлось гнуть спину... Так что как хотите: формировалось там сознание или не формировалось, но в новую жизнь Иван Кочламазашвили пришел вполне зрелым ее сторонником; больше того — поборником, единомышленником, готовым и защищать, и работать на нее, только работать уже не только для того, чтобы жить... Он все свои последующие годы прожил ради того, чтобы трудиться, и сегодня, сейчас живет ради того же. Стоит вдуматься в такую вот цифру — 20. Стоит, ибо она далеко не простая.

Без малого двадцать лет назад Иван Васильевич Кочламазашвили ушел... Так и хочется сказать: «на заслуженный отдых» (вот она, притягательная сила наших литературных штампов!), однако нельзя: не желает он отдыхать и не отдыхает. Работает. По штатному расписанию — термистом ремонтно-механического цеха Руставского металлургического завода. На самом деле еще и по линии БРИЗа, техники безопасности. Если же говорить исчерпывающе, то практически «по всем линиям», а главное — «по человеку». Здесь, вероятно, требуются некоторые дополнительные разъяснения? Подождем с ними пока.

Право же, автору иногда кажется: если б это зависело от него, то привычные, повсеместно принятые вопросы из «Личного листка» — того, что заполняется для отдела кадров, он бы, пусть частично, заменил на другие. Да и кто знает, может, так оно когда-нибудь и произойдет, причем еще в обозримом будущем? И получится:

— Фамилия, имя, отчество?



- Кочламазашвили Иван Васильевич.
- Год рождения?
- 1902-й.
- Цель жизни?
- Найти свое счастье.
- Ваше представление о счастье?
- Служение людям — родным, друзьям, товарищам, народу своему...
- Где, когда, в каком качестве работали?

Здесь анкетирование придется оставить. Просто потому, что анкете как таковой (пусть до совершенства доведенной) не под силу вместить и тем более отразить сложность даже вполне обыкновенной жизни вполне обыкновенного человека.

После 25 февраля 1921 года Иван Кочламазашвили из квалифицированного рабочего — **слуги частного предпринимателя** превратился в квалифицированного рабочего — **члена трудового коллектива**.

Я познакомился с ним в нынешнем апреле, точнее — накануне Всесоюзного коммунистического субботника, посвященного 111-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Он тогда вот что сказал:

— Я во всех, без исключения, субботниках участвовал... И завтрашнего ни за что не пропущу. Знаете, почему? Да потому, что шестьдесят лет назад, на первом субботнике, впервые с собой какой-то силой почувствовал... как бы сказать поточнее? — что среди людей, с ними, для них живу. Понимаете, я с малолетства вкалывал — и всегда словно бы знал, ради чего. Сначала — чтобы отцу помочь. Потом — ради науки, очень хотелось ремесло получить. Дальше — ради денег, чтоб прожить как-то... А вот тогда, на субботнике, вдруг что-то новое пришло, неведомое прежде. Ну, собралось нас — я в ту пору на заводе имени Калинина, Михаил Ивановича, работал — человек шестьдесят... Ну, убирали что-то, полы мыли, двор чистили... Словом, украшали завод — хотелось в красоте работать. Музыка там, песни, цветы... Шумно, весело — молодежь, в основном была. Потрудились, как говорится, на славу, времени не замечая, не считая часов. Только позже, дома уже, усталость ощутил — и по привычке, машинально прикинуть хотел: сколько, интересно, заработал? Тогда и вспомнил: а ведь ни черта я не заработал!.. Наверно, сегодня это смешно звучит, но в тот момент такая ко мне радость и гордость пришла! Я ведь знал (так мне подумалось), с самого начала знал, что не ради денег вкалывать будем, а просто — для всех. Для людей, для завода, для республики... — Он пытливо на меня взглянул, проверял будто: не смеюсь ли я в самом деле?

Нет, Иван Васильевич, совсем тут не до смеха. Даже сегодня, на шестьдесят четвертом году существования Советской власти. И спасибо, что вы так точно и емко, с такой свежей, непосредственной образностью выразили в нескольких словах огромную сложность и значимость совершившейся в вас, в сокровенных глубинах вашего сознания — и сознания десятков, сотен миллионов людей — переоценки ценностей, которая

родила новое отношение к жизни. Ведь вы так заключили свой рассказ о первом субботнике:

— В общем, было как в праздник — на Новый год там, на Первое мая... Словом, когда делаешь, что самому хочется, а не обязательное.

Может, именно в этом ключ к пониманию личностной сущности, человеческого «я» Ивана Васильевича — «необязательное», за которое и денег не платят, делать так же добросовестно, в полную силу, как необходимое, то, что положено в соответствии с занимаемой должностью, местом работы?.. Здесь уместно привести еще один вопрос-ответ из «Личного листка» нового образца, выдуманного автором:

— Каков, в вашем понимании, наиболее подходящий синоним слова «труд»?

— Труд — это творчество.

Жизненный путь Кочламазашвили в новой — Советской Грузии начался с квалифицированного рядового рабочего. В дальнейшем, причем очень скоро (в те годы многие одним широким шагом преодолевали расстояния, равные годам), ему приходилось выполнять ответственную работу **руководителя**. Различных рангов.

Был Иван Васильевич в разное время и бригадиром, и старшим мастером, и директором крупного предприятия, и профсоюзным вожаком, и начальником смены, и главным механиком; командовал, наконец, тем самым ремонтно-механическим цехом РМЗ, где сейчас занимает должность термиста... В годы Великой Отечественной, когда рабочие руки были на вес золота — мужчины уходили на войну, однако властное требование «Все для фронта, все для победы!» кому-то ведь надó было выполнять, — он привел на Кировский завод шестерых: жену, двоих сыновей, брата, сестру и зятя — и возглавил эту семейную бригаду. Самому сражаться с оружием в руках не пришлось — не пустила в бой старая болезнь, с которой в свое время государство помогало Ивану Васильевичу бороться всеми средствами, в Ялту, например, посылало лечиться... Здесь я забегаю вперед и потому еще вернусь к военным тяжелым годам, как можно осторожнее постараюсь коснуться нанесенной ему глубокой раны. Лучше бы, конечно, и вовсе этого не делать, но иначе невозможно, потому что никак нельзя обкрадывать человеческую жизнь — даже вычеркивая из нее самые горькие страницы.

Весь этот, на одном дыхании выполненный, беглый и, следовательно, далеко не претендующий на полноту, пересказ биографии Кочламазашвили — к тому, чтобы выделить главное. А именно: и в бытность «простым» рабочим, и занимая посты, где работа связана с нешуточной ответственностью, он оставался человеком творчества. Вспомним ожеговское толкование: «Творчество — создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей». Применительно к деятельности Ивана Васильевича следует выдвинуть на первый план ценности материальные.

Начнем с итога. Но при этом оговоримся: в данном случае «итог» — понятие весьма и весьма условное, так как подразумевается всего лишь некий промежуточный баланс между

прожитыми годами и тем, что сделано, черта, подведенная под днем минувшим. Завтрашний, с его планами и их воплощением в **новые по замыслу ценности**, — впереди. На сегодня же итог таков:

Ивану Кочламазашвили, пенсионеру с почти двадцатилетним стажем, присвоены почетные звания «Мастера промышленности Грузинской ССР» и «Заслуженного рационализатора республики»; он награжден многими правительственными и иными наградами; в течение пятнадцати лет состоит членом Республиканского совета ВОИР. Заметим, что все это пришло к нему уже после 1962 года, и еще раз задумаемся об относительности сакраментального выражения «ушел на заслуженный отдых».

На счету Кочламазашвили — изобретателя и рационализатора (причем только за время его работы на РМЗ) — около 140 предложений с общим экономическим эффектом от их внедрения в производство более трехсот тысяч рублей.

...Первое дитя, как известно, самое трудное.

Нынешний Тбилисский завод литейного оборудования имени Калинина начинался не одно десятилетие тому назад, и в ту далекую пору профиль предприятия трудно было бы определить одним или даже большим количеством слов: тогда здесь выпускалось, по выражению Ивана Васильевича, «что угодно». И литье, и оборудование для мельниц делали, и двигатели внутреннего сгорания ремонтировали... В 1927-м завод перешел в новое просторное помещение, освобожденное какой-то другой организацией.

То была перемена не одного лишь географического свойства. Она как бы оформила, узаконила и наглядно утвердила начало новой главы в летописи предприятия. В первооснове этих качественных изменений лежало нечто большее, нежели простой поворот в судьбе данного конкретного коллектива: вся жизнь республики переходила на новые рельсы — индустриальные. Бытие с невиданной дотоле стремительной уверенностью обретало четкую заверщенность черт. Для калининцев этот неизбежный процесс выразился в специализации.

Все тверже становившаяся на ноги практически неизвестная досоветской Грузии отрасль сельского хозяйства — чаеводство — естественно и закономерно обращалась в поисках поддержки к промышленности. Рождались первые чаеперабатывающие фабрики; их надо было оснащать оборудованием, а в дальнейшем это оборудование обслуживать, постоянно обновлять, ремонтировать.

На заводе имени Калинина открылся электроцех. Продукция его — динамомашины, трансмиссии для нужд юной чайной промышленности. Как в судьбах миллионов других людей, революционные преобразования масштаба исторического, пришедшие в жизнь страны и республики, преломились и в масштабах личной судьбы Кочламазашвили, определив для всего его дальнейшего существования такое место под солнцем; о каком он сам никогда не задумывался, которого себе не представлял и не мог представить в годы работы на частных предпринимателей.

Вы знакомы хотя бы с элементарными, в пределах школьной программы, началами электротехники? Тогда вам известно, что коллектор, один из основных агрегатов динамомашин, состоит из многочисленных медных пластин.

— Их там — десятки, — вспоминает Иван Васильевич, — и каждой надо было придавать конусность. А делалось это напильником, вручную, и производительность труда получалась соответствующая: три, максимум четыре пластины за смену успевал изготовить слесарь. Вот я и задумался как-то...

Он задумался над тем, что стало его первым рационализаторским предложением. Идея была в равной степени проста и неожиданна, а потому, увы, встречена веселым смехом коллег. Даже то обстоятельство, что Кочламазашвили тогда уже не просто «вкляывал» у станка, но и возглавлял профсоюзную организацию завода, не смогло помешать товарищам посмеиваться хотя и дружески, однако откровенно проницательно. Среди скептиков оказался и главный механик завода Давид Зурабович Карсидзе, впоследствии Герой труда... Поэтому молодой изобретатель воплощал свой замысел в металле, по существу, тайком — допоздна задерживался в цехе с учеником и единомышленником Ваней Бондаренко, сразу и безоговорочно уверовавшим в его «патрон для механизации процесса заточки пластин коллектора».

Тем величественнее выглядел триумф, когда на глазах у директора и другого начальства Ваня изготовил все, от первой до последней, пластины коллектора за каких-то полчаса! Потом пришли и остальные атрибуты признания: положительная оценка специалиста из Закавказского ВСНХ, корреспонденция и фото в «Тифлисском рабочем», премия в размере четырехмесячного оклада, учеба в Москве на годичных курсах рационализаторов, последовавшее после возвращения с них назначение директором родного завода, а главное — тироксе внедрение новшества на родственных предприятиях.

Читателю, разумеется, ясна полная невозможность сколько-нибудь подробно рассказать обо всех рацпредложениях Ивана Васильевича, рожденных к жизни за годы, минувшие с того памятного 1927-го. Их суммарная весомость уже тоже известна — правда, на примере одного Руставского завода. И вот именно в силу последнего обстоятельства непременно следует заметить, что многие результаты творческого поиска Кочламазашвили, воплотившиеся в реальность принципиально новых технических решений и сэкономленных народных денег, остались безымянными по очень простой и, возможно, не всем нам, сегодняшним, понятной причине: не одно, не два и не пять своих предложений, внедренных в производство, рационализатор не регистрировал. Из скромности? Можно сказать и так. Но точнее будет иное объяснение: он считал, что «так и надо» — работая, изобретать; какая же будет в противном случае работа?

Здесь хочется взять на себя смелость не то что вступить в полемику — просто дополнить интерпретацию понятия «творчество», принадлежащую составителю знаменитого «Словаря русского языка», к словам «...культурных, материальных цен-

ностей» добавить: «и человеческих». Или как-нибудь иначе сказать, но в том же духе. Вот почему.

Жизнь человека, как известно, продолжается в его делах. Разных — в зависимости от того, чему он ее посвятил. И вместе с тем (а это уже — независимо от профессии, рода занятий) она продолжается в людях. Для родителей — в детях. Для любого хорошего, по-настоящему любящего и знающего свою работу специалиста — в учениках («последователях», «продолжателях», «преемниках», это уже как хотите).

Вернемся теперь в страшные и героические годы Великой Отечественной.

Передовая линия смертного единоборства с фашизмом не приняла Ивана Кочламазашвили в качестве солдата — не позволило здоровье. Он сражался за победу в тылу. Зато обоих сыновей, старшего Володю и Эдика, война, когда подошло их время, оторвала от работы в «семейной бригаде» Кировского завода и одела в красноармейскую форму. Домой вернулись оба, только вот жить остался один — младший. Володя умер, не достигнув тридцатилетия, его убили фронтовые раны... Но живет и здравствует другой Володя, его сын, — водит сегодня автобус по маршруту № 11 «Рустави—Тбилиси»; и трудится сейчас в столице грузинской металлургии Эдуард Кочламазашвили, мастер на все руки — слесарь, сварщик, газовщик; и учится в профессионально-техническом училище юный Виктор Эдуардович, будущий сталевар, и ходит на занятия в металлургический техникум внучка Светлана... А всего их у Ивана Васильевича вот сколько: внуков — двое, внучка — одна, правнуков — четверо, и старшему из них идет тринадцатый год!

Такова, в двух словах, династия Кочламазашвили, связанных узами кровного родства. Есть еще и другая династия — если применимо это определение к людям, у которых разные фамилии, непохожие судьбы, различные жизненные пути... Ну, когда говоришь о руставцах, тут проще.

Был Бадо Махарадзе слесарем — стал заместителем начальника цеха по оборудованию. Токарничал Прима Вашаломидзе — руководит нынче инструментальным участком. Начальник слесарно-сборочного участка Вахтанг Квентая тоже начинал свою трудовую дорогу слесарем... Да, тут проще. Можно без малейшей натяжки, без грана преувеличения сделать следующее — достаточно, согласитесь, ответственное — заявление: почти все без исключения кадровые рабочие ремонтно-механического цеха РМЗ прошли в свое время у Ивана Васильевича школу профессиональной выучки и жизненной закалки, готовясь к экзамену на человека — создателя материальных ценностей.

— Сколько, хотя бы приблизительно, подготовили вы квалифицированных рабочих? — спросил я Кочламазашвили — термиста по штатному расписанию, работающего одновременно в области техники безопасности, БРИЗа, а также «по линии человека».

— Наверное, — пожал он плечами, — ну... несколько десятков.

— Больше! — уверенно возразил председатель ^{завкома} Шалва Каленикович Барбакадзе, однако на настойчивое мое «и все-таки?» тоже плечами пожал в затруднении: — Разве считаешь?..

Этот, с позволения сказать, диалог — отнюдь не дань приверженности автора к сомнительной ценности литературным «красивостям», а отражение фактического положения вещей. Вспомним опять же военные годы.

Из прочитанных писателем Иван Васильевич выделяет Макаренко. Может быть, отчасти за такие его слова: «Дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». Дело в том, что в период войны Кочламазашвили пришлось работать не только на заводе, был он определенное время и старшим мастером ремесленного училища — в суровую ту пору людей ведь особенно не расспрашивали, какое занятие им больше по вкусу... И поступило однажды в это РУ «пополнение» — девяносто преступников, не каких-нибудь там идиллических «маленьких оборвышей», а самых настоящих уголовников в возрасте 16—18 лет, прямым ходом из мест заключения.

Нет, думаю, надобности особенно расписывать великую сложность задачи, перед лицом которой оказался вдруг Иван Васильевич. Как отыскать тропинку к сердцам этих мальчишек и девчонок — по возрасту, вполне созревших индивидов, сформировавшихся уже правонарушителей — если исходить из их горького, злого опыта?

Ответ, как бывает, подсказала сама жизнь (к этому надо добавить только, что она в подобных случаях щедра на подсказки лишь к тем, кто искренне, без тени рисовки и фальши, готов служить, делу до конца). Старший мастер понял тогда: одно может заставить распрямиться искривленные общей, всенародной, да что там — всечеловеческой бедой души — возвращенные начинающим людям право и реальная возможность бороться с этой самой бедой. Он пошел к начальству Тбилисского арсенала:

— Дайте нам работу... Только настоящую.

В тот же день в ворота училища въехали два грузовика с материалами, инструментами, эскизами чертежей. «Ремесленникам», как их тогда называли, было доверено почетное боевое задание — изготавливать для фронта орудийные банники, ножницы, способные перекусывать колючую проволоку, минные капсулы... А Кочламазашвили, превратившийся в мастера производственного обучения и одновременно в воспитателя, на чью долю выпали заботы, ничем не уступавшие по сложности макаренковским, остался вместе с тем изобретателем и рационализатором, как и было ему предназначено судьбою. Он сам «сочинял» (выражение Ивана Васильевича) и собственноручно изготовлял штампы для деталей, он догадался использовать для капсулей стреляные винтовочные гильзы. Он вносил живое дыхание творческой мысли рационализатора в трудные будни училища — и приводил в соответствие с законами здорового, разумно устроенного бытия искалеченные —

но не безнадежно! — судьбы своих воспитанников. Тяжкий труд. Прекрасный труд, ибо он был освящен гармонией сованной деятельности чистого сердца, четкой мысли и честных рабочих рук.

...Сколько их, юношей и девушек, которым едва не исковеркало судьбу злобное чудовище — война и которые сегодня живут и трудятся рядом с нами? А их дети, Дети их детей? Кто сосчитает? Остается и впрямь одно — пожать плечами.

Пожалуй, настало время подвести черту. Конечно, под рассказом только о той части пути, которая уже пройдена, и о тех делах, которые завершены. На сегодняшний день. Именно — на сегодняшний. Будут еще дни и годы, много дней и лет.

Я довольно ясно вижу улыбку удовлетворения на лице вдумчивого, искусленного читателя. Ведь он знает: сейчас последует описание «не по возрасту крепкого, ничуть не согнувшегося под тяжестью лет» почти восьмидесятилетнего человека с «юношески живым взглядом зорких глаз и твердой, уверенной походкой». Что ж, вас не обманул ваш опыт, уважаемый искусленный читатель. Все приведенные признаки наличествуют. Поскольку же они налицо, то можно, верно, их и не расписывать? Лучше, пожалуй, поговорить более предметно, хотя, само собой, без всякой претензии на новизну темы: ведь сколько уж раз писалось и о «молодости в восемьдесят лет», и о том, что «возраст измеряется не прожитыми годами»... И о великих старцах, вошедших в историю, тоже всем известно более чем предостаточно...

А просто: познакомившись с Иваном Васильевичем Кочламазашвили, несколько раз встретившись и поговорив с ним, я, по мере развития этих наших контактов, все чаще почему-то вспоминал другого хорошего, большой, красивой души человека. Его звали Федор Амбакович Шавишвили, и я уверен: имя это многим знакомо. Мне посчастливилось встретиться с ним давно и не раз потом слушать его немногословные рассказы о себе и других, о времени и делах — прекрасных, устрашающе-грозных, кровавых, о поступках — величественных, исполненных самопожертвования, ярких и (здесь, видимо, самое главное) совершавшихся только потому, что люди, оставившие их нам в бесценное наследство, просто не могли поступать иначе. Я уверен, повторяю, что тех, кто знал Федора Амбаковича, — большинство. Для непосвященных — предельно краткая справка: Ф. А. Шавишвили, член партии с 1921 года, в борьбу против царского самодержавия вступил пятнадцатилетним подростком, вскоре был арестован и осужден, десять (!) лет провел в казематах проклятого каторжного острова — Шлиссельбургской крепости, вышел из ее каменных стен после Февральской революции и с тех пор всю свою долгую жизнь, до самого своего последнего дня служил делу, в которое верил.

Однако приведенные сведения — именно краткая, даже, можно сказать, официальная справка. Поделиться же хотелось больше другим.

Мало в ком еще из многочисленных знакомых и даже друзей встречал я такую щедрую, совершенно — до самозабвения, до полной, беззаветной самоотреченности — бескорыстную доброту к человеку. Ею светилося все существо Федора Амбаковича. Не та бездеятельная незлобивая мягкость, что сродни весьма распространенной и, честно говоря, не слишком мне импонирующей душевной податливости, от которой недалеко и до всепрощенчества. Доброта и сердечность человека, подарившего мне высокое право называть себя младшим его товарищем, была производной природы цельной и целеустремленной, зиждилась на почве бескомпромиссной принципиальности в оценке окружающих — причем независимо от занимаемого ими пресловутого «общественного положения», на той высочайшей требовательности к себе и другим, которая зовется **большевистской**.

И все-таки, когда мысли мои обращаются к Федору Амбаковичу Шавишвили так, сами по себе, естественно и без «мудрствования лукавого», я вижу просто старого, очень много пережившего и в равной мере усталого человека. Но, несмотря на это (а может, именно потому?), человека беспредельно доброжелательного к близким и неблизким, к жизни как таковой, хотя годы, которые принято называть лучшими, для него уже прошли... Да здравствует подобная старость, потому что ее и старостью-то ведь не назовешь! Да здравствует человек, достигший возраста, именуемого преклонным, и все же по-прежнему юношески-страстно любящий жизнь и живущих, человек доброго сердца, души щедрой и большой, в которой тем не менее нет места для зависти к тому, что **биологически** его моложе... Ведь молодость и старость — это не временные категории, это способность или неспособность к Творчеству.

Магомед ГАСАНОВ

ДРУЖБА НАВЕКИ

В ИСТОРИИ каждого народа есть знаменательные даты, с которых начинается отсчет нового этапа в его жизни. Для грузинского народа вслед за победой Великого Октября и как результат этой победы такой датой стало 25 февраля 1921 г. — день установления Советской власти в Грузии.

Как светлый и радостный праздник дружбы народов встретили трудящиеся республики 60-летие Грузинской ССР и Коммунистической партии республики. Вместе с ними этот знаменательный юбилей отметила вся многонациональная семья советских народов, в том числе народов Дагестана.

Во взаимоотношениях народов Дагестана и Грузии наступает новый этап с присоединением к России в 1801 г. Картли и Кахети. Присоединение этих областей к России объективно имело большое прогрессивное значение для дальнейших судеб не только грузинского, но и всех народов Кавказа, в том числе для дагестанских. Этот акт положил начало присоединению к России и остальных областей Кавказа. Гюлистанский мирный договор, подписанный в 1813 г., юридически закрепил вхождение Дагестана в состав России.

С вхождением Дагестана и Грузии в состав России внешняя опасность была устранена и создались благоприятные условия для развития экономических и культурных отношений дагестанских горцев с грузинами.

Экономические отношения были обусловлены различными естественно-климатическими и хозяйственными условиями, необходимостью взаимно дополнять друг друга. Торгово-обменным эквивалентом в экономических связях дагестанских горцев и грузин служили продукты животноводства и изделия домашних промыслов. Собственным урожаем дагестанские горцы могли прокормиться при благоприятных условиях в течение 5-6 месяцев. Остальное время они питались зерном, завезенным с равнины, о чем свидетельствуют исторические

источники и данные полевых экспедиционных исследований. В районах Грузии дагестанские горцы приобретали не только зерно, но и различные ткани фабричного производства. Несмотря на отдаленность и неудобство дорог, большую роль в этих связях играл Тифлис.

В пореформенный период широкое распространение принимает отход горцев Дагестана на сезонные работы в Картли и Кахети. Отходничество для дагестанских горцев было одним из основных источников существования. На заработки уходили с семьями, с женщинами и детьми.

Кроме сезонных работ, дагестанские горцы уходили в Тифлис, Телави, Сигнахи и другие грузинские города и села на постоянную работу, восполняя ряды промышленного пролетариата Грузии.

Отход дагестанских горцев на заработки в Грузию сближал их с местным населением, непосредственно знакомил с его хозяйственной жизнью. В этот период продолжалось переселение отдельных дагестанских горцев из высокогорных селений в равнинные районы Кахети, где возникает ряд дагестанских селений. Это явление имело большое значение в деле сближения дагестанских горцев и грузин и углубления их экономических связей.

Постоянные контакты дагестанских народов с грузинами, усилившиеся после присоединения к России, в особенности в пореформенный период, способствовали расширению культурных связей Дагестана и Грузии.

Грузинские исследователи, писатели проявляли большой интерес к Дагестану и его народам. Видный грузинский ученый и крупный общественный деятель Платон Игнатьевич Иоселиани в 1861 г. совершил путешествие по Дагестану, которое описано в книге «Путевые записки по Дагестану». Он побывал в Калало, Кусур, Ирибе, Гунибе, Ходжал-Махи, Дженгутае, Темир-Хан-Шуре, Унцукуле, Хунзахе и других населенных пунктах. П. Иоселиани Дагестан называет «азиатской Швейцарией».

Вождь национально-освободительного движения Грузии И. Чавчавадзе придавал большое значение единству и дружбе между кавказскими народами, считая это основой их освобождения от оков самодержавия. За И. Чавчавадзе следовали его ближайшие соратники А. Церетели, Я. Гогешвили и др.

С конца XIX в. грузинские историки проявляют большой интерес к истории Дагестана, выявляя сведения о нем и его народах, сохранившиеся в грузинских письменных источниках. С этой точки зрения заслуживает внимания труд М. Джанашивили «Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и России».

В 1891 г. в Дагестане побывал писатель и общественный деятель Грузии Эгнатэ Ниношвили. Он участвовал в экспедиции «филлоксерной группы» (группы, ведущей борьбу с филлоксерой). Э. Ниношвили объездил Дагестан (Дербент, Петровск, Шура, Гимры, Кумтор-Кала и др.). В результате он написал пространный очерк историко-экономического характера «Письмо из Дагестана».

В конце XIX — начале XX вв. взаимоотношения народов Дагестана и Грузии вступили в этап революционного содружества на базе национального и социального освобождения. Революционное движение дагестанских горцев, проживавших в Грузии, тесно переплеталось с революционным движением грузинского народа.

Совместное революционное движение дагестанских и грузинского народов проявлялось не только в самой Грузии, но и в многонациональном Баку, где рука об руку работали дагестанские народы и грузины.

В конце XIX — начале XX вв. в Баку жили и работали видные грузинские революционеры В. Кецховели, А. Цулукидзе, А. Джапаридзе, Г. Стуруа, И. Сталин, А. Енукидзе и другие, под руководством которых и совместно с которыми работали дагестанские революционеры К. Агасиев, М. Айдинбеков, Т. Юзбеков и другие.

Грузинские революционеры были основателями в Баку типографий, продукция которых распространялась и в Дагестане. Грузинские революционеры являлись организаторами митингов, забастовок, в которых участвовали дагестанские отходники.

С созданием Тифлиского, затем Бакинского комитетов РСДРП (1901 г.), а также образованием социал-демократических кружков и групп в дагестанских городах революционные связи народов Дагестана и Грузии расширились.

Большую роль в распространении марксистских идей и развертывании революционной борьбы на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане, сыграл Кавказский краевой комитет РСДРП, созданный в 1903 г.

В 1904 г. во Владикавказе был образован Терско-Дагестанский комитет РСДРП, объединивший социал-демократические группы Дагестана и Терека. В становлении этого комитета большую роль сыграли Бакинский и Тифлиссский комитеты РСДРП, а также непосредственно грузинские революционеры Н. Буачидзе, Н. Кикнадзе.

Отношения народов Дагестана и Грузии крепили в годы первой русской революции — в период борьбы против царизма. В революционном движении 1905 г. в Дагестане принимал участие работник Петровской почтово-телеграфной конторы Н. М. Цинцадзе, на квартире которого собирались революционеры и активные рабочие. В Петровске вели революционную работу П. И. Кончухидзе и И. Рамишвили, который являлся одним из руководителей Петровской социал-демократической организации. На ход революционного движения в Дагестане повлияли революционные выступления трудящихся Баку, Тифлиса, Батуми и других городов.

В период между двумя буржуазно-демократическими революциями отношения дагестанских и грузинского народов развивались в обстановке активной борьбы трудящихся края против существующего строя, империалистической войны. Революционное содружество народов Дагестана и Грузии проявлялось в совместной борьбе их как в Грузии и в Даге-

стане, так и в Баку и городах Северного Кавказа. Наряду с представителями русского, северокавказских народов грузинские революционеры по-прежнему оказывали большую помощь трудящимся Дагестана в их борьбе против царизма или возглавляли революционное движение в крае.

С победой Февральской буржуазно-демократической революции перед пролетариатом встала задача борьбы за диктатуру пролетариата. В Дагестане возникали Советы рабочих и солдат, а также большевистские фракции и группы.

Дагестанские большевики поддерживали тесную связь с большевистскими организациями Тифлиса, Баку, Владикавказа и Грозного, откуда в Дагестан поступала литература, а также приезжали революционеры. Большую работу в Дагестане вели члены социал-демократической организации большевистского направления «Гуммет», в создании которой активное участие принимали П. А. Джапаридзе, А. М. Стопани и др.

На I краевом съезде большевистских организаций Кавказа, проходившем в Тифлисе 2—7 октября 1917 г., произошло объединение партийных организаций Кавказа. На съезде от Дагестана присутствовали представители Порт-Петровской и Дербентской организаций.

Съезд объединил большевистские организации Закавказья и Северного Кавказа в единую партийную организацию во главе с руководящим центром — Кавказским краевым комитетом РСДРП(б), в состав которого вошли А. Н. Атабеков, П. А. Джапаридзе, С. И. Кавтарадзе, Ф. И. Махарадзе, А. М. Назаретян, М. С. Окуджава, М. Г. Торшелидзе, Ю. П. Фигатнер, М. Г. Цхакая, Д. А. Шавердов и С. Г. Шаумян.

25 октября (7 ноября) 1917 года свершилась Октябрьская социалистическая революция. В ответ на победу Великого Октября контрреволюционеры на Кавказе организовано выступали против Советской власти. При активной поддержке меньшевиков и эсеров 1 декабря 1917 г. было создано контрреволюционное Временное терско-дагестанское правительство, против которого выступали северокавказские большевики во главе с М. Цхакая, Н. Буачидзе, М. Орахелашвили, З. Палавандишвили и др.

В марте-апреле 1918 г. Советская власть была установлена на всей территории Северного Кавказа и сразу же началась борьба за восстановление народного хозяйства.

Как известно, победа социалистической революции в Закавказье временно была задержана, власть захватили буржуазные и мелкобуржуазные партии. Против воли трудящихся они оторвали Закавказье от Советской России и отдали его на откуп иностранным интервентам.

В мае 1918 г. Закавказская буржуазная федеративная республика, образованная совместными усилиями грузинских меньшевиков, армянских дашнаков, азербайджанских мусаватистов и призванная продолжать в Закавказье политику низложенного Временного правительства, распалась. На ее об-

ломках возникли Азербайджанская, Армянская и Грузинская буржуазные республики.

В совместной борьбе против внутренней контрреволюции и иностранных интервентов крепили и развивались интернациональная солидарность и братская дружба наших народов. Плечом к плечу с дагестанскими горцами воевали за победу власти Советов в Дагестане сыны грузинского народа.

Многие грузины-революционеры принимали деятельное участие, а порой играли руководящую роль в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Северном Кавказе. Достаточно вспомнить таких непоколебимых ленинцев, как И. В. Сталин, С. Орджоникидзе. Непосредственное участие в установлении Советской власти в Дагестане принимали В. Нанейшвили, Г. В. Канделаки и др. Члены Тифлисского бюро крайкома партии Филипп Махарадзе, Лало Думбадзе, Мамия Орахелашвили и др. в тесном контакте с дагестанцами (С. Габиев и др.) провели большую работу по мобилизации и отправке в Дагестан интернированных в Грузию красноармейцев, командиров и политработников.

Трудящиеся Дагестана в свою очередь оказали большую помощь грузинскому народу в его самоотверженной борьбе за окончательную победу Советской власти в республике. Дагестанцы своей борьбой парализовали действия интервентов и внутренней контрреволюции, срывали их планы захвата Тбилиси и других грузинских городов.

Кроме того, всенародная борьба трудящихся Дагестана не могла не оказать влияния на ход событий в Грузии. Так, министр иностранных дел меньшевистского правительства в Грузии Е. Гегечкори заявил верховному комиссару Англии в Закавказье О. Уордрону, что происходящие в революционном Дагестане события не могут не вызвать в крае «полной анархии», которая, несомненно, перекинется в соседние области, в частности в Грузию, и явится серьезной угрозой «общественному спокойствию Грузии», и поэтому умолял английское командование положить конец этой «анархии».

25 февраля 1921 г. войска Красной Армии вступили в столицу Грузии — Тифлис. Весть о победе Советской власти в Грузии была встречена в Дагестане, как и по всей нашей стране, с большой радостью. Газета «Советский Дагестан» от 27 февраля 1921 г., посвященная этой победе, вышла с передовой статьей «Праздник трудящихся Дагестана» и специальной подборкой под общим заголовком «Белый Тифлис пал! Да здравствует Красный Тифлис!». В городах и аулах, а также среди бойцов на фронте проводились митинги и собрания по поводу этой победы. Так, 8 марта в Гунибе состоялся съезд красных партизан и бедноты, посвященный победе Советской власти в Грузии и ликвидации банды в горах. Съезд постановил послать С. Орджоникидзе поздравительную телеграмму: «Приветствуем в Вашем лице, дорогой товарищ Г. К. Орджоникидзе, новую Советскую Грузинскую республику, — писали участники съезда... — Мы твердо убеждены, что Дагестанская и Грузинская советские социалистические республики быстро пойдут рука об руку по пути строительства но-

вой счастливой коммунистической жизни. Да здравствует Грузинская Советская республика!»

После победы над внутренней контрреволюцией и иностранными интервентами перед трудящимися Дагестана во весь рост встали задачи по-новому устроить свою жизнь, восстановить разрушенное войной хозяйство. Осуществление этих задач немисливо было без помощи народов нашей страны, в том числе и братского грузинского народа.

С первых лет победы Советской власти в Дагестане и Грузии установилась крепкая дружба между тружениками сельского хозяйства.

С 1935 г. трудящиеся Дагестана и Грузии соревнуются по животноводству. Представитель Дагобкома ВКП(б) Новобитов выразил уверенность, что колхозники Грузии учтут опыт хороших дагестанских колхозов и в свою очередь помогут дагестанцам осуществить главную задачу республики — поднять животноводство.

Выступивший от имени грузинской делегации колхозник Иванов сказал, что «этот поход убедил, что мы, колхозники, являемся братьями всех трудящихся великого Советского Союза. Наша задача — навек закрепить то братство Грузии и дагестанцев, которое мы видели и чувствуем в незабываемые дни нашего похода по Дагестану».


Нерушимая дружба и братская взаимопомощь особенно проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими полчищами. В годы войны Дагестан стал одним из важных стратегических пунктов, через который проходила связь с республиками Закавказья — Грузией, Азербайджаном и Арменией.

Поистине величественным был патриотический подъем народов Кавказа в дни его героической обороны. Оборона Кавказа имела важнейшее военно-политическое значение. Немецко-фашистским полчищам был нанесен здесь непоправимый урон. В период обороны Кавказа с особой силой проявилась дружба между народами Кавказа, в том числе дагестанцами и грузинами.

Эту дружбу хорошо видели и ощущали солдаты, сержанты и офицеры дивизии, где служило много грузин. Вот как описывает гостеприимство жителей Дагестана полковник запаса Д. Папашвили: «Местные жители в знак своего высокого уважения преподнесли всем офицерам одного из полков бурке, а хозяйственной части передали 500 голов овец и большое количество брынзы. Вручая бурки, один из колхозников сказал: «Дорогие братья-грузины! Примите наши скромные подарки, помните, что теплота нашей братской дружбы не только в этих бурках. Где бы вы ни были, как бы тяжело вам ни приходилось, мы всегда с вами. Пока живут эти высокие горы и наша дружба, немцам не видать ни Грузии, ни Дагестана».

Еще больше окрепла дружба двух республик в послевоенные годы.

Соревнование между колхозами Дагестана и Грузии развило чувство коллективизма, братской взаимопомощи, воспи-



тывало упорство и стойкость в достижении поставленной цели. Животноводы Гунибского и Душетского районов республики сообща борются за дело — подъем производства сельскохозяйственных продуктов. Для обмена опытом колхозники выезжали друг к другу, знакомились с достижениями новаторов сельскохозяйственного производства.

«Хотя более 40 лет занимаюсь овцеводством, знаю уход за овцами, — говорил старший чабан села Млета Душетского района Грузинской ССР Ш. Назгаидзе. — но все-таки многому научился у Якубова и стараюсь использовать опыт в своей работе». Речь шла о старшем чабане колхоза имени Фрунзе Гунибского района.

Правительство нашей республики, идя навстречу просьбам животноводов Грузии, несмотря на нужды Дагестана, выделило пастбища, сенокосные угодья и водопой. В Ногайской степи Дагестана пасутся тысячи голов рогатого скота и сотни тысяч овец разных колхозов Грузии.

Дружно живут чабаны Грузии и Дагестана. Помогают они друг другу не только в деле. Дети грузинских животноводов посещают дагестанскую школу, их отцы — концерты дагестанской музыки. В свою очередь дагестанские животноводы пользуются торговыми предприятиями грузин в Ногайской степи.

Трудовое содружество хлеборобов и животноводов Гунибского района с колхозниками Душетского района, направленное на выполнение решений партии и правительства по подъему сельского хозяйства, превратилось в яркую демонстрацию сердечной дружбы народов Грузии и Дагестана. Передовые методы труда животноводов братских республик помогли добиться новых успехов в развитии животноводства.

Дружба тружеников сельского хозяйства двух братских районов принесла за эти годы богатые плоды. Неизмеримо окрепли колхозы соревнующихся районов, зажиточней и культурней стала жизнь тружеников колхозного села. Работники сельского хозяйства Гунибского района побывали в Грузии. Вот что пишет член дагестанской делегации о гостеприимстве грузин: «На всю жизнь запомнится членам делегации поездка в Душети. Грузинское гостеприимство известно. Как родных братьев и сестер принимали нас душетцы, повсюду делились опытом, говорили о недостатках и просили советов, широко открывали навстречу нам не только двери, но и сердца». О дружбе между дагестанцами и грузинами очень ярко высказался Арчил Бурдули, грузинский колхозник: «Неподалеку от Тбилиси сливаются наши четыре Араги, образуя неудержимый поток, — сказал он, — так и наши народы, братаясь, взаимно обогащаясь опытом, крепят свою поступь к изобилию и счастью, и чем крепче поступь, тем ближе прекрасное завтра».

В сентябре 1963 года комсомольцы Гунибского производственного управления побывали в гостях у душетской молодежи. Тепло и радостно встретили грузинские юноши и девушки посланцев солнечного Дагестана. Встреча вылилась в подлинный праздник дружбы народов и способствовала

дальнейшему укреплению тесных связей между народами двух республик. «Высокие и суровые Кавказские горы, географически разделяющие Грузию и Дагестан, не могут помешать нашей дружбы, — говорила К. Бекаури, секретарь Душетского райкома комсомола, на митинге дружбы. — Узы братства между нашими народами растут и крепнут с каждым годом, с каждым днем. Наше братство и дружба нерушимы, потому что мы плечом к плечу строим величественное здание коммунизма».

В 1965 г. заключено соревнование между колхозами «Цудахарский» Левашинского района ДАССР и колхозом им. Махарадзе Казбегского района Грузинской ССР. 25 июня делегация из цудахарского колхоза побывала в Казбеге, а в октябре цудахарцы приветствовали у себя грузинских гостей.

Соревнуются и обмениваются опытом, научными достижениями не только труженики сельского хозяйства, но и деятели науки, искусства, аспиранты, студенты, спортсмены. Многие дагестанцы учились в Тбилиси под научным руководством крупных специалистов кавказских языков, академиков А. С. Чикобава, Г. Топурия и др.

Представители дагестанских народов работают в учреждениях, высших учебных заведениях, на предприятиях, в колхозах и совхозах Грузии. Творческие кадры для нашей республики куются в театральных вузах Грузии. Так, в Грузинском государственном театральном институте им. Ш. Руставели на актерском факультете учились артисты аварского театра. Отечественное внимание ощущали дагестанские студенты, обучавшиеся в Тбилиси сценическому искусству, со стороны чудесных грузинских наставников, таких, как лауреат Государственной премии, народный артист СССР Арчил Чхартишвили. В Тбилисской Академии художеств, ставшей кузницей творческих кадров, вместе с грузинами, русскими, азербайджанцами учились и учатся представители народов нашей республики.

В отделе северокавказских языков Института языкознания Академии наук Грузинской ССР старшим научным сотрудником работает кубачинец, профессор А. О. Магометов.

Много представителей Грузии мы видим в Дагестанском государственном университете им. В. И. Ленина, в педагогическом институте им. Г. Цадасы, в Дагестанском медицинском институте, во многих учреждениях республики.

Большой популярностью в Дагестане пользуются крупные ученые-кавказеды академики И. А. Джавахишвили, Н. А. Бердзенишвили, С. Н. Джанашиа и их последователи академики Г. А. Меликишвили, Г. С. Читая, профессор М. К. Думбадзе и др.

В Грузии известны имена наших поэтов и писателей С. Стальского, Г. Цадасы, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, народного поэта Дагестана Р. Гамзатова. Идеей дружбы народов Дагестана и Грузии пронизаны произведения дагестанских и грузинских поэтов и

писателей. В стихотворении Героя Социалистического Труда Ираклия Абашидзе «Две Алазани» говорится, что при Советской власти две Алазани слились в одну, как слились народы Грузии и Дагестана в общую семью братских народов. Обмениваются опытом работы и деятели искусства.

Неоднократно в Дагестане бывали грузинские артисты, а в Грузии дагестанские, каждый приезд которых превращается в демонстрацию дружбы двух народов. Зрители различных городов Грузии высоко оценили и дружно аплодировали дагестанскому Государственному ансамблю танца «Лезгинка».

В нашей республике проводились фестивали кинофильмов студии «Грузия-фильм». Деятели грузинского киноискусства поставили фильм о Дагестане. Ежегодно в Дагестане выступает заслуженный ансамбль народной песни и танца Грузии, проводятся радиодни Дагестана в Грузии и Грузии в Дагестане.

Дружба народов Дагестана и Грузии наиболее отчетливо проявилась в период стихийных бедствий, землетрясений, имевших место в Дагестане за последние годы. В первые же дни после разрушительных толчков в Дагестане стали поступать телеграммы из Тбилиси, Поти, из других городов Грузии с выражением желания поскорее помочь потерпевшим, вовремя подать руку помощи. Грузинская республика построила в Махачкале и Буйнакске школы, детские сады. Трудящиеся города Поти Грузинской ССР направили кумторкалинским и зубутлинским детям много одежды.

Коллективы предприятий, детских учреждений из Тбилиси просили прислать детей в летние пионерские лагеря, где ребятам обеспечивали бесплатный отдых на все лето. В Грузии провели лето несколько сот дагестанских ребят.

Силу братства и дружбы народов нашей многонациональной Родины, рожденной Великой Октябрьской социалистической революцией, нельзя сравнить ни с чем. Этой силе не страшны никакие испытания.

Сегодня дружба народов является величайшим фактором, ускоряющим наше движение по пути строительства самого светлого общества — коммунизма. История народов не знала примеров такого содружества и братства, которые установились в нашей стране.

Коммунистическая партия Советского Союза считает своей священной обязанностью воспитание трудящихся в духе советского патриотизма и нерушимой дружбы народов СССР.

Как не вспомнить тут слова Владимира Ильича Ленина. В письме «Товарищам-коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики» он указывал: «Горячо приветствуя Советские республики Кавказа, я позволю себе выразить надежду, что их тесный союз создаст образец национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе».

Акакий ВАСАДЗЕ

СТИХ — ОБВАЛ СНЕГОВ...

В марте 1937 года в Москве и Ленинграде состоялись творческие вечера Т. Табидзе. Его тепло приветствовали известные русские писатели и деятели искусства. И как раз тогда, в пору расцвета и творческой зрелости поэта, когда вдохновение входит в согласие с мудростью, извлеченной из жизненного опыта, — именно тогда сбылось предчувствие безвременной гибели:

Следы нашей жизни, о чем ни пиши,
Изглядятся лет через десять, не боле,
А там на помин нашей бедной души
Придется сходить поклониться Николе.

(Перевод Н. Заболоцкого)

И в этом случае предвидение поэта оказалось фатально точным! Это строки из стихотворения «Нико Пиросмани», которое он написал в 1927 году, ровно за 10 лет до своей гибели.

Если мы будем оценивать поэзию Т. Табидзе и весь его творческий путь в целом, он предстанет перед нами как результат трезвого, целеустремленного, подчиненного строгому самоконтролю труда, развивавшегося во взаимодействии двух начал — эмоционального и рассудочного, в их взаимоупорядочении и сцеплении. Избыток чувствований и в то же время творческая бдительность, контроль — даже в минуты поэтического воспарения, «божественное безумие» и трезвость суждений закономерно сочетались в его поэтической душе, в его творческой личности, что и определило эффективное раскрытие его творческого воображения и мышления в чувственно-конкретных образах, выражение его возвышенных устремлений, лавиной обрушивающихся переживаний в простой, четкой, сдержанной художественной форме.

Предопределенность направления творческой энергии, предопределенность творческих целей сразу бросается в глаза при знакомстве с поэзией Тициана Табидзе. В этой личности огромную мятежную энергию и на первый взгляд неуправляемый натиск чувств всегда упорядочивали интеллект, творческая трезвость.

В 10-х годах XX века, осваивая культуру европейской поэзии, Т. Табидзе корнями никогда не отрывался от поэзии, созданной национальными традициями. Ни в жизни, ни в поэзии для него никогда не были характерны космополитизм, слепое преклонение перед иноземным и отрицание национальных истоков и форм. Как бы ни опьянял его аромат «Цветов зла» Бодлера, как бы ни завораживали призраки Эдгара По, куда бы ни уносила его мечта вслед за «Пьяным кораблем» Рембо, — внутренне он никогда не отрывался от родной земли, в глубинах его души навсегда запечатлелось дыхание родных просторов, биение пульса народного стиха и поэзии Бесики, Орбелиани, Бараташвили, Важа Пшавела... Его творческая фантазия отмечена колоритом, пластикой и звучанием грузинского национального искусства. Его поэтическая душа вскормлена богатыми национальными культурными традициями, и поэтому случилось так, что он сумел в том пространстве, где «рыскали на конях грозные и мрачные всадники», среди бесчисленных и соблазнительных литературных «измов» найти свой «зеленый луг» и зажечь святую свечу собственного творчества.

Таков поэтический облик Т. Табидзе в общих чертах. Однако, если попытаться вскрыть структуру этого обобщенного облика, обнаружатся разные, иногда даже противоречивые моменты или точнее образы-системы, движущие поэтом, обозначающие сферу и нацеленность его творческих исканий, его душевный настрой в тот или иной период жизни. В большинстве случаев личность художника содержит в себе несколько движущих его творческой деятельностью образов-систем, одни из которых — поверхностны, приобретены извне, другие — присущи изначально и существенны. У Т. Табидзе такими характеризующими и составляющими облик его творческой индивидуальности моментами являются образы-системы: денди-эстета, Пьеро, поэта-рыцаря и певца жизни. Вот эти четыре образа-системы управляли творческой эволюцией Т. Табидзе, и через их реализацию формировалась и проявлялась его внутренне многогранная поэзия, неутомимо ищущая все новые и новые формы художественного отображения.

Денди-эстет

Образ денди-эстета в личности Тициана Табидзе начинает преобладать с московского периода в течение почти целого десятилетия. Это пора, когда он всем существом погружается в поэзию французских символистов, когда на квартире Бальмонта слушает беседы об искусстве, когда присутствует на вечерах Валерия Брюсова и вообще начинает дышать в той атмосфере, где дух эстетизма и дендизма господствует уже сам по себе. Сознание молодого поэта затуманивается соблазном экстравагантной литературной информации, ему кружит голову обстановка, полная эффектных и непривычных явлений, чувства и мысли болезненно обостряются; в необычном он ищет еще более необычное; хочет выявить в своих возможностях то, что для изображения жизни, расцветенной в одно

и то же время вымышленным и реальным, истинным и ложным, окажется еще более экстраординарным. Он старается и сам, как в повседневности, так и в творчестве, уподобиться тем денди и эстетам, которые пленяют его своей утонченностью, необычностью поведения, изяществом слова: Оскару Уайльду, Рембо, Бодлеру, Малларме, Эдгару По. И вот появляется стихотворение, раскрывающее облик денди-эстета, усиливающийся в его личности:

Профиль Уайльда. Инфанту невинную
В раме зеркала вижу в гостинной.
Эти плечи под пелериною
Я целую и не остыну.

Беспокойной рукой перелистывая
Дивной лирики том невеликий,
Зажигаюсь игрой аметистовой,
Точно перстень огнем сердолика.

Кто я? Денди в восточном халате,
Я в Багдаде в расстегнутом платье
Перечитываю Малларме.

Будь что будет, но, жизнь молодая,
Я объезжу тебя и взнуздаю
И не дам потеряться во тьме.

(«Автопортрет». Перевод Б. Пастернака)

Было бы невероятно, если бы духовная близость молодого поэта с этими изысканными писателями не оказала влияния на его личностный склад и не вызвала в нем увлечения эстетизмом. Вполне возможно, что Тициан Табидзе в то время даже не видел в их творчестве того истинно прекрасного, что сделало их бессмертными в истории мировой литературы. Взор молодого поэта тогда привлекала в основном проявлявшаяся внешне необычность красок и фигур, слух его завораживало звучание неслыханных прежде полутонов поэтической фразы, — в стихах вышеназванных поэтов прежде всего ему интересен был аспект формы, а то главное, что лежало в основе эффективности изобразительных средств их произведений, он вычитал позднее на фокштейне «Пьяного корабля». Пока же он воображал себя Оскаром Уайльдом и все происходящее вокруг казалось ему маскарадом, где пестрые тени сменяют друг друга:

Темно в глазах. А все кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
Зал дышит алым бархатом и черным.
Звук скрипки небывало удрученным
Ко мне приходит, чтоб во мне открыть
Мне самому неведомые раны.
Как странно. Все, что было, — все в году
Бог весть каком уплыло, стало дальним...
Нет имени тому, чего я жду

Сейчас смертельно сладким ожиданьем.
Но впереди — мертвец, суров и светел,
Под смертною рубашкою простой, —
Так некогда, оставшись сиротой,
Моя душа скончалась на рассвете...
...Зурна рыдает. Дикий танец гор
Показывают иностранцам. Скор
И медлен танец. И пищит дудук,
И звук зурны, все тот же скорбный звук.
Звук реквиема моего. Я знаю:
Нельзя мне вспоминать. И вспоминаю
И май, и яблоню. Ее цветы —
Постелью белой по двору. И ты,
Невозвратимая, как время.
Темно в глазах. Но все кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
А мертвый зал, и шумный и немой,
Танцует реквием печальный мой.

(«На маскараде». Перевод Ю. Ряшенцева)

Поэт словно ошеломлен видениями снов, он сам не знает, как назвать то сладостное, то невидимое, что заставляет его, поглощенного страстью, слушать реквием и писать эти стихи, похожие на шепот изумления. Написаны они на одном дыхании, несколько даже беспорядочно, сбивчиво, и понять в них главное, основное нелегко. Но если приглядеться внимательнее, то мы непременно заметим искру истинно художественного чувства, блеснувшую в круговороте видений, и в этом стихотворении мерцают картины и переживания, художественно отражающие действительность.

С 1913 года другом и советчиком Тициана становится «Книга масок» Реми де Гурмона. Реми де Гурмон оказал большое влияние на эстетику и поэтику Тициана Табидзе, на формирование его художественно-творческих принципов. Творческие устремления молодого писателя всегда направлены на необычное, прежде не виданное, не высказанное, и вот Реми де Гурмон внушает ему мысль: существование поэта, его деятельность в большинстве случаев определяются тем, что он должен быть оригинальным и неповторимым. Его долг — знакомить нас с явлениями и предметами, о которых до него не упоминали, причем в такой форме, которая до него в литературе не применялась. И Тициан Табидзе пытается на практике доказать свою верность этим наставлениям:

Ноябрьский бес приходил с бокалом вина
И подергивал челюстью, коротенькой и смешной,
И потягивался, и поглядывал на меня,
И спрашивал: «Ты ведь пойдешь со мной?»
Куда мы шли... Мы не шли — метались во мгле
Жеребенком напуганным. За нами на полном скаку
Тишина летела — темный всадник на высоком седле, —
Тишина летела и к груди прижимала тоску.

Казались серые вершины далеких скал
Сломанными крыльями усталого божества.
Небо ли умерло или земля, кто по кому горевал,
Горьким и медленным черным снегом покрывалась
трава.

Стонала сова. Нетопырь ей вторил вдали.
Шакал глядел с амбара у схлеста дорог.
И табуном, словно туча, кентавры шли
По черной земле, где царствовал принц Магог.

(«Принц Магог». Перевод Ю. Ряшенцева)

В этом стихотворении, так же как и в других стихотворениях десятых годов, изображенные предметы имеют сугубо символическое значение. Для достижения художественного эффекта Т. Табидзе здесь обращается, говоря условно, к средствам затуманивания, состоящим в создании экстраординарных художественных ситуаций и образов. В стихотворениях такого рода каждый предмет, каждый образ является символом, который в своем значении не несет реального содержания и не подчиняется внутренней логике. Вот «ноябрьский» болотный бес, о котором так часто судачат в наших деревнях старушки и сказители; и там же — царство принца Магога, нагоняющего страх библейского персонажа, представленного в стихотворении несколько на французский лад: вдруг появляется стадо кентавров (кентавр — получеловек, полуконь, обожествляемый символистами); падает черный снег — символ неисчерпаемой скорби; душа же — напуганный жеребенок... Все это движется, впечатляет; но особое волнение вносит в стихотворение «ноябрьский бес» стуком своей коротенькой челюсти. Единственный невозмутимый край — тишина; тишина на коне преследует душу, мчащуюся на жеребенке; тишина — больше, чем душа, ибо тишина — это дух.

На стихотворениях Т. Табидзе этого периода, за небольшим исключением, заметен отпечаток книжности. Многие из них носят попросту компилятивный характер, но если мы будем оценивать под определенным углом стихи Т. Табидзе и его соратников-голубороговцев, то признаем, что увлечение эстетизмом и формализмом в их творчестве было сознательным и с точки зрения исторического развития абсолютно закономерным. В частности, Т. Табидзе сознательно взял курс на освоение грузинской поэзией достижений западноевропейской литературы, о чем открыто и прямо сам заявляет в те же десятые годы:

В сад Бесики сажаю
Злые цветы Бодлера...

И какими бы эпигонскими ни были стихи, созданные в ту пору, какой бы формалистический характер они ни носили, это все же стихи Т. Табидзе — и в них узнается почерк и характер поэта, свойственная ему острота чувств. Прошло время, и в силу этой поистине творческой природы в его поэзии

взяла верх естественность подлинных переживаний, просто та искренности. Образ денди-эстета постепенно поблек, уступила юношеская страсть к созданию искусственных форм, и эстетизм — артистическое начало — утвердился не в качестве самоцели, а как свойство творческого характера поэта, один из основных аспектов его личности.

Пьеро

Пьеро — образ, пришедший из мира итальянских народных масок. На протяжении многих лет он шествовал по карнавальным улицам больших и малых городов Италии, прошел через множество испытаний, доставил людям много радости и, наконец, проторил себе путь на сцену. Его возвели на подмостки как одну из самых жизнестойких и любимых масок. И вот, очень скоро, вместе со своими неразлучными друзьями — Коломбиной, Арлекином, Панталоне, Судьей и Капитаном — Пьеро создал всемирно известную комедию масок, или комедию дель арте. Он превратился в одного из главных сценических персонажей.

Но если на первых порах Пьеро и его партнеры на сцене лишь импровизировали и их сценическая жизнь развивалась стихийно, то впоследствии Карло Гоцци и Гольдони заставили маски действовать целеустремленно, создали для них основные художественные ситуации, с точностью вылепили их образы и характеры. Писатели последующих поколений как бы в наследство, уже готовыми, получили эти образы-маски и еще больше разнообразили их жизнь, расширили поле их действия. Начиная с XIX века, Пьеро, Арлекин и Коломбина перекочевали со сцены в поэзию. В грузинскую же поэзию эти образы-маски, бесспорно, ввел Т. Табидзе.

Кто же такой Пьеро? Лирический герой — наивный и безумно влюбленный в Коломбину, доверчивый и чувствительный, из-за своей наивности часто оказывающийся в комическом положении. Положение-то комическое, но душевное состояние героя — в высшей степени напряженное, трагическое. Трагичность обостряется коварством Арлекина, его двуличием, продажностью... Если опустить комический аспект — останется обыкновенный, бесхитростный, самозабвенно влюбленный человек, которого очень легко обмануть и поднять на смех.

Этот образ со всей четкостью был запечатлен в самой личности Тициана Табидзе. Если жестикуляцией, во время чтения стихов выявлявшей его безудержную энергию, вдохновенным лицом и отблесками синевы в глазах, отвагой и пылкостью, прорывавшейся в художественном слове, он порой и в самом деле походил на рыцаря перед боем, а нередко и на денди-эстета, периодически накатываемой на него меланхолией, нежными чертами лица, артистичными беседами об искусстве, длинным зонтом в руке и гвоздикой в петлице, то иногда он напоминает нам также и Пьеро — своей доверчивостью и эмоциональностью, сердцем, исполненным любви и простоты. Тем более, что образ Пьеро отнюдь не отри-

цает рыцарского начала. Антиподом «рыцарства» мог бы быть образ Арлекина. Добрый же и возвышенный по сути своей, олицетворяет романтический характер в творчестве Тициана Табидзе периодическое сосуществование этих образов было обусловлено единой почвой, созданной именно началами доброго и возвышенного.

Образ Пьеро в его творчестве зарождается вместе с образом денди-эстета и формируется параллельно с ним, хотя следует отметить, что образ Пьеро, по сравнению с образом денди-эстета художественно гораздо более впечатляющий, оставил более осязаемый след в его поэзии. Как и денди-эстет, Пьеро тоже является одним из образов-масок, характерных для символизма.

На первых порах (в московский период) образ Пьеро представлялся поэту поверхностным, маской, заимствованной из комедии дель арте: поэта тогда больше интересовали и увлекали внешние ситуации, краски и эффектные штрихи, связанные с этой маской, что подтверждается многими стихотворениями, созданными в тот период, и среди них стихотворением «Пьеро».

«Пьеро» — чисто символистское стихотворение, в котором выражена туманная, носящая мистический характер тонка по поводу нереальности окружающей действительности или зыбкости, видимости реального. Смысловая структура стиха так же зыбка, размыта, как и образ самого лирического героя и его переживания. Здесь картины реальности перемежаются с призраками прошлого, сон и явь уравниваются в своем значении, стерта граница между прошлым и настоящим, и во всей этой головокружительной фантазмагии вечно влюбленный Пьеро по-прежнему забавляет публику и по-прежнему плачет над своей Коломбиной.

В этом стихотворении, так же как и в других стихах московского периода, маска Пьеро носит весьма абстрактный характер, черты ее неопределенны, неясна суть. Это сухой, лишенный содержания символ, который не может выполнять в стихотворении функцию художественного образа. Эта маска оживает в поэзии Тициана Табидзе немного позднее, в те годы, когда Пьеро поднимается на подмостки Тбилиси. Здесь он уже обретает плоть, выразительность и колорит, наполняется реальными переживаниями и предстает перед нами лирическим героем, выявляющим одно из основных направлений творчества поэта, героем того «инога театра», каким являлась в тогдашнем художественном представлении поэта Грузия:

О родина, смотрю я на тебя
Из сумерек партера,
Мой старый балаган, с тобою снова я —
Бродяга и актер.

Еще стекаются с актерами фургоны.
Раскрашенные, в блестящих,
Сидят фигляры, фокусники, маги:
Борцы шагают в рост.

О, братья милые, сегодня с вами я
Сыграю на подмостках,
Поставим «Душу» мы. Старинный этот фарс
Возобновим для звезд.
Пусть о Тамаре, троице святой,
О благодати старинной
Расскажет летописца Грузии
Правдивое перо,
А я, склоняясь над плачущей моей
Подругой Коломбиной,
Лишь звездам расскажу о ней слезами,
Как преданный Пьеро...

(«Халдейский балаган».
Перевод Л. Мальцева)

Следует отметить также и то, что образ Пьеро становится живым, художественно убедительным и впечатляющим на «тбилисской сцене» еще и потому, что у самого поэта возникают созвучные этому образу интимные переживания: в жизнь поэта врывается Коломбина, своевольная, очаровательная, влекущая своей красотой, капризная и кокетливая.

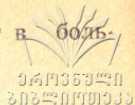
Коломбина — Нина Макашвили (в скором будущем супруга Тициана), обаятельная молодая девушка, находившаяся в центре внимания тогдашнего как аристократического, так и артистического общества. На стене кафе «Химериони» они так и были изображены: Нина Макашвили — Коломбина, Тициан Табидзе — Пьеро.

Разве Тициан в определенный период своей жизни не страдал, подобно Пьеро, окруженный многочисленными «арлекинами», «панталоне» и «капитанами»? Его Коломбине пели романсы галантные офицеры, князья и богатые дельцы, и устраняли соперников нищему Пьеро приходилось с помощью стихов, пронизанных горечью, становившихся все проникновеннее, все резче, в которых любовь к Коломбине воплощалась в различных образах.

...Годы 1917 — 1922. Тициан Табидзе в Тбилиси: поэт и один из руководителей «Голубых рогов», эстет и одновременно «король балагана»; один из самых популярнейших людей в городе, которого почитают; правда, он носит в петлице гвоздику, но гвоздика эта порой взята из чужого букета, порой сорвана в чужом саду — у красы и гордости Тбилиси в кармане ни гроша. Гвоздику из букета, купленного другим, преподносит он в одном из кафе Коломбине и бросает к ее ногам свой огненный стих... Дух его обитает в прекраснейших дворцах, а у самого нет ни кола ни двора; но это обстоятельство не умаляет его любви, он не расстается с мечтой о девушке, вокруг которой увиваются богатые и знатные поклонники. Кто знает, какая сторона личности Тициана покоряет Нину Макашвили — популярность, энергия, главенство в поэтическом мире, искренность и наивность в любви или еще что-то другое. Так или иначе, но они поженились. И вот, брачную ночь Пьеро и Коломбина проводят в квартире

своих друзей, а медовый месяц Коломбины проходит в бои-
нице...

И туберкулезным кашлем Коломбины
Ноябрь врывается в дверь.



(Подстрочный перевод)

Постепенно вышедший на тбилисскую сцену Пьеро скидывает с себя чужеземные одежды и обликом, мыслями и переживаниями своими становится все более грузинским. Его надежды, его боль связываются с национальными истоками. Поле его действия, его творческие ситуации — прошлое и настоящее Грузии. Он теперь одушевленный художественный персонаж и вместе с тем один из двойников поэта: иногда немного усталый и подавленный трудностями и бессердечностью людей, порой раздраженный игрой в неслаженном спектакле перед суетной публикой, но преимущественно искренне влюбленный, артистичный, охваченный жаждой борьбы и схватки с судьбой. Когда нужно, он и шапку Гарибальди наденет, и по-рыцарски воспламенится:

Время настало — смог красную шапку надеть я, —
И в Гарибальди на миг ты, Пьеро, превратился!

(«Второе апреля». Перевод С. Ботвинника)

На грузинской сцене у Пьеро уже есть не только настоящее, но и прошлое. Он вспоминает свое прошлое, свое бытие в древности, на земле Халдеи. Халдея — его прародина:

Закипают седые глубины
Заклинаний забытых!
Оживают глухие руины
Городов знаменитых!..
Древний свет, не затменный веками,
Разгорается снова,
Воспою золотыми стихами
Блеск и славу былого...

(«Халдейское солнце». Перевод В. Державина)

В настоящем же он охвачен мучительными предчувствиями, хочет убежать от злобы, смуты, безрадостности будней. Ведь Пьеро — романтик. Он тяжело переживает свою неуместность, свою несовместимость с существующим. Нет, здесь ему не место; наступило время арлекинов — двуличных и коварных, хотя и искусных клоунов, и поэтому:

Как патриарх не хочу умирать,
Грузии солнце не радует взгляд,
Жажду от отчих могил убежать —
Для плясунов тут натянут канат...

(Из стихотворения «23-е апреля».
Перевод С. Ботвинника)

На натянутом канате пляшет Арлекин, а не Пьеро. Пьеро совсем иной; у него были совсем другие предки, у него и душа иная, и другие порывы им движут; и если он не забыл на своих предков, то просто потому, что само время изменилось, и Пьеро заклеямен временем. Но он все равно не стал практиком и скептиком; он все равно не забывает о прошлом, не оставляет мечты о будущем, как прежде хочет бежать из балагана, где, возможно, он и царствует, но разве его радует эта власть?

...Так, быть может, умру я, король балагана.
Королем я был на земле неизменно.
Не забудьте поэтов, что умерли рано,
Что о бже томились смиренно.

(«Король балагана».)
Перевод Т. Вечорки)

Душа ставшего королем балагана Пьеро не забыла прошлого, солнечных песен предков; он хочет присоединить к ним свой голос, наполнить стих былым сиянием и мощью. Но все вокруг изменилось и все более отдаляется от солнечного и светлого; сквозь гул толпы, окружившей сцену, Пьеро не слышит собственного голоса... Вместо Халдеи перед ним — огромный балаган, в котором все и вся хмельное, шаткое, ломкое. В этом балагане нет места возвышенному, а романтическое — опасно. Его закопченные окна не пропускают солнечных лучей. И вот в таких условиях комизм Пьеро приобретает черты фарса, а трагическое начало дребезжит голосами мелодрамы. Пьеро невольно поддается фальшивому, показному, блекнут его характерные краски, черты его маски искажаются... И тянется фарс о той лирической, романтической душе, которая невольно принимает участие в несуразном спектакле, идущем на разгромленной сцене среди шатких декораций. До каких пор выдержит душа и сможет наполнять жизнью маску?! У Пьеро спирает дыхание, кружится голова. Он собственными руками срывает с себя маску и под хохот зрителей, потрясенный, убегает со сцены.

Поэт-рыцарь

В Грузии еще не было поэта, в творческой жизни которого с большей или меньшей четкостью не проявились бы рыцарские порывы, и наоборот: невозможно представить себе существование рыцаря вне поэтического воспарения, вне ощущения красоты. Само грузинское слово «раинди» («рыцарь») своим совершенно непретенциозным народным звучанием, своим содержанием акцентирует скорее духовную, нежели физическую силу; значение этого слова подразумевает как самоотверженную борьбу человека за возвышенные общественные идеалы, добро и справедливость, так и его устремления к прекрасному, духовному. Почти все грузинские цари и знатные вельможи, прославленные ратными и

государственными делами, были поэтами или любителями поэзии. А как стремился к военной карьере и к участию в битвах Николоз Бараташвили! В жизни же Давида Гурамшвили походы и стихи неотделимы друг от друга. Или, если не погружаться в глубь веков, то можно вспомнить феномен Мирзы Геловани и его стихи, написанные в окопах... Для грузинских поэтов и воинов гербом мог бы служить один и тот же символ, состоящий из тяжеловесного меча и легчайшего гусиного пера.

В стихах Николоза Бараташвили, Важа Пшавела, Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели во всю мощь звучит боевой клич, в творчестве каждого из них резко выявлен протест против несправедливости, смятение воинственного духа. Таковы природа и исторически сложившаяся духовная направленность грузинского поэта. Такими были природа и духовная устремленность Тициана Табидзе.

Примечательно также и то, что само слово «раинди» («рыцарь») или его синонимы фигурируют во многих его стихотворениях, а в некоторых если не названы прямо, то подразумеваются:

Если даже нерв отваги оборвется,
Я жив — последний мюрид.

(«За лавиной — лавина»
Подстрочный перевод)

Такое признание поэта, такое высокопарное заявление не может вызвать иронической улыбки даже у читателя, отрицательно настроенного по отношению к патетике в искусстве, ибо фраза эта художественно оправдана: она высказана поэтом искренне, непосредственно, и, что главное, такое признание обусловлено творчески перевоплощенным состоянием, оно опирается на художественную ситуацию и органически согласуется с настроением стиха в целом, с его эмоциональными и смысловыми направлениями и оправдано личностным весом поэта — мощно заряжено творческой энергией. По причине всего вышесказанного в этих строках, как и в целом стихотворении, нет ни фальшивого романтизма, ни показного самолюбования.

Часто рыцарские устремления Т. Табидзе усиливаются видениями прошлого, величественными тенями исторических героев. Это весьма характерные для его поэзии романтические воспарения, романтические воззвания к прошлому:

То мне река Лиахви снится... То не спится..
А лишь засну: и бой! И мчится атабек!
Плывут тела татар сраженных. И Аспиндза
В Куру засмотрится отныне и навек..
Опять в грузинских погребах играют вина,
И рыцарь к рыцарю спешит, и к рогу рог.
Бессмертно солнце наше! Нет еще грузина,
Чтоб перед смертью он забыть об этом мог.
Не быть мне мастером, стыдливым и невинным —
Пусть он царицын лик во фреске сохранит, —

Но надо стыд забыть, чтобы пером гусиным
Махать настойчиво, когда клинок звенит.

(Из стихотворения «Растянутый мадригал».
Перевод Ю. Ряшенцева)

С точки зрения Т. Табидзе, самое высокое качество личности — героизм, готовность к борьбе (что, разумеется, в какой-то мере было обусловлено революционной эпохой и, в частности, общественно-политической обстановкой в Грузии 10—20-х годов). В самой поэзии он считает важнейшим героическое начало и в некоторых стихах откровенно признает приоритет героя-борца перед высоко ценимым «именем поэта».

Что сравнится с именем поэта?
Имя героя — выше!
Люблю грузинскую землю праведную,
Очищенную героями.

(Подстрочный перевод)

И, приобщившийся к подобному «символу веры», он просит провидение:

Отправьте и меня к героям Крцаньси,
К отважным гладиаторам Марабды.

(Подстрочный перевод)

...Картины прошлого, ставшие легендой, и образы наших исторических героев служат важнейшим неиссякаемым источником творчества каждого настоящего поэта Грузии. Но весь вопрос в том — кто во что поверит, какой образ или историческое событие послужит творческим стимулом поэту; и самое главное, чтобы поэт всем существом прочувствовал тот или иной образ или явление, ибо если исторический материал не оживить собственным дыханием, своей болью и чувством, тревогой о настоящем — такой материал, каким бы интересным и значительным он ни был, породит бледное и безжизненное художественное произведение. Поэт обычно использует исторический материал для того, чтобы полнее воплотить свой собственный замысел, а не для того, чтобы воссоздать некое романтическое полотно. То есть историческое событие должно быть для поэта не целью, а объектом и способом выражения его нынешних, связанных с современностью переживаний.

Страсть, волнение и трагический пафос должны исходить в первую очередь от личности поэта — личностные истоки поэта, качества, обусловленные его способностью к перевоплощению, его характер, мысли и чувства должны вдохнуть жизнь в образ того или иного исторического героя или в то или иное историческое событие. Этим требованиям вполне отвечают стихи Тициана Табидзе, построенные на историческом материале:

Из ворот Ташикари летит ураган,
Блещет пламенем шлем Моурави.

Серп луны изогнулся, прорезав туман, —
Скорбный месяц в холодной оправе.



Замирая, не в силах я глаз отвести
От развалин старинного стана.
Опоясан мечом, я стою на пути,
Но не видно нигде басурмана.

(Из стихотворения «Тамуне Церетели».
Перевод Н. Заболоцкого)

Слияние образов и событий прошлого с переживанием настоящего обнаруживает себя также в стихотворении «Саргис Джакели», в котором вновь блеснет воспоминание о Цотне Дадиани. Наверно, мы не ошибемся, если скажем, что образ Цотне Дадиани ввел в современную грузинскую поэзию и вдохнул в него новую жизнь Тициан Табидзе. И не только образ Цотне Дадиани, но и Саргиса Джакели, и образы многих других исторических деятелей предстают в творчестве Т. Табидзе в новой трактовке и раскрываются в оригинальных художественных формах. Т. Табидзе первым наметил в современной грузинской поэзии пути к воплощению исторических характеров и событий и, что главное, преподнес следующим поколениям по-новому осмысленные темы.

Однако мы не должны считать Тициана Табидзе поэтом, увлекающимся лишь картинами прошлого, закрывающим глаза на окружающую его действительность, поэтом, взор которого поглощен лишь созерцанием теней исторических героев. Его рыцарские порывы проявлялись в полную силу не только тогда, когда речь шла о прошлом, но и в процессе художественного воплощения явлений современности. Т. Табидзе остается верным «рыцарскому кодексу» и в цивилизованном мире. Там, где «рыцарской арены не видно вообще» и где меч бессилён, он призывает на помощь в «роковом поединке» свое слово, свое перо. Даже во время беспыльного кутежа, когда он плывет на плоту, его не покидает настрой воина, — и тогда не гаснет в глубине души воинственный дух, который отчуждает его от «пьяных кинто» и заставляет говорить следующее:

Зачем мне стол, накрытый на плоту?
И то вино, что бражники глушили?
Схватить бы лучше в руки бомбу ту,
Что некогда швырнул в Грязнова Джорджиашвили.

(Перевод П. Антокольского)

Именно дух рыцаря-борца обуславливал возникновение в поэте тех возвышенных, неукротимых чувств и мыслей, которые он выразил в ряде таких стихотворений о патриотизме, дружбе и любви, как «Картлис цховреба», «Стихи о Мухранской долине», «Тамуне Церетели», «Ананури», «Сергею Есенину», «Заглушите в душе колокола Сиони», «Красная шапка Гарибальди» и «Ликование», по праву признанных лучшими образцами поэтического мастерства и современной

грузинской лирики. В перечисленных выше стихотворениях творческая энергия Т. Табидзе проявила себя наиболее ярко и поэтому мы считаем, что образ рыцаря-борца, со всей полнотой обнаруживший в них свое значение и содержание, является самым основным, характерным для поэта образом, выражающим ту творческую направленность, которая сопутствовала всей его жизни.

Певец жизни

Сразу после установления в Грузии Советской власти перед мастерами слова и, в частности, перед Тицианом Табидзе остро встал вопрос о коренном преобразовании их творческой жизни. Это преобразование, в сущности, означало отрицание принципов «свободного искусства» и переход поэтического слова, подобно индустрии и сельскому хозяйству, на службу социалистическому строительству. Каким болезненным и трудным было для Т. Табидзе и его литературных собратьев прощание с «Голубыми рогами», видно из его сочинений. Мы не будем сейчас касаться коллизий политического, психологического и чисто творческого характера, связанных с проводимым молодой Советской властью курсом «партийности литературы», о которых было сказано уже не раз, и по отношению к Тициану Табидзе отметим лишь следующее: разрушение масок эстета и Пьеро, акции пролеткультовцев и прочие процессы как личного, так и общественно-политического характера вызвали в его творческой жизни глубокий кризис, вынудивший поэта на некоторое время умолкнуть. Этот период молчания был порой той же адаптации, приспособления психологического строя поэта к новой обстановке. К счастью, эта перестройка содержания, направленности психологического характера в силу его личностных свойств, его темперамента осуществилась быстро. Присущие его личности романтичность, любовь к жизни и главное — неистощимая творческая энергия взяли свое, и молчанию пришел конец: оно было нарушено взрывом новых стихов. Сила скопившихся в душе слов, замыслов, всем существом пережитой боли успела заживить душевные раны:

Крепкая, точно Саргис Джакели,
И, словно Понт Эвксинский, нежна,
Невысказанность томит доселе.
И сохнет глотка, поражена.

(«Понт Эвксинский». Перевод Л. Озерова)

Пишутся стихи, похожие на стон, вырвавшийся из пораженной глотки. Слово лавиной рвется из существа поэта и едва не увлекает его за собой. Лавиной вырвавшийся из груди стих характерен именно для этого периода творчества Т. Табидзе. Теперь уже не время и не место пересаживать в «сад Бесики» цветы Бодлера или других европейских поэтов. Само творчество Тициана уже не нуждается в этом. Он уже

перенял из европейской поэзии то, что ему было нужно, уже овладел культурой современного стихосложения. В поэте уже сложились предпосылки для того, чтобы лавины чувств и видений самостоятельно вылились в стройные поэтические формы и потекли в определенном русле. Поэт и сам восхищен созерцанием «обвалов», бушующих в его душе: что это за поэт, если его зоркий глаз творца не сможет оценить собственного душевного состояния, не увидит того, что надлежит высказать. И вот введение в русло стиха лавиной нахлынувших чувств и видений становится принципом поэзии Тициана Табидзе.

Не я пишу стихи... Они как повесть пишут.
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдвинет,
И заживо схоронит. Вот что стих.

(Перевод Б. Пастернака)

В те годы (1922 — 1928) преодоленная жаждой и любовью к жизни сильнейшая душевная боль, побежденные внутренняя растерянность и безнадежность, восторг, вызванный красотой мира и человека, готовность пожертвовать собой во имя родины и прекрасного заставляют поэта писать стихи, которые, и в самом деле, гремят, как обвалы, и открываются нам россыпью дивных красок. Это образцы истинной поэзии, подлинно грузинские стихи, выражающие существо национального поэтического духа, в которых нет ничего искусственного, ничего «пересаженного» и заимствованного. Такие стихи, как «Ананури», «Иду со стороны чернесской...», «Ликование» и другие, свидетельствуют о взлете поэтического творческого духа Тициана Табидзе, о его мощи и неповторимости. А с точки зрения формы поэтическая фраза в них становится удивительно гибкой, рифма же и ритм — отточеными. И хотя Тициан Табидзе в тот же период жалуется Али Арсенишвили, одному из своих литературных соратников и братьев:

И я спрашиваю эту непроглядную
Скифскую ночь:
«Где ты, юность, исчезла
Подобно виденью?
Кто, о, кто засмолил
Мое сердце
Этой желчью сухой?
Запечатал,
Не дав возмужать
Вдохновенью?»

(Из стихотворения «Илаяли».
Перевод В. Державина)

— эта жалоба лишена оснований. Если судить по вышечисленным стихотворениям, его поэтическое вдохновение,

гоэтические чувства и мысли со всей полнотой свидетельствуют о «возмужании» и о мастерстве зрелого художника.

Правда, в ту пору мы имеем в основном дело с новым звучанием художественного слова поэта, с вызреванием в нем новых замыслов, с его внутренней творческой перестройкой и почти полным освобождением от формалистических перегибов. Но если оценивать написанные тогда (1922 — 1928) стихи в тесной связи с уже пройденным творческим этапом, они предстанут перед нами «лебединой песней» периода «Голубых рогов» — тем прощальным вздохом, за которым последовал новый подъем поэтической энергии. В этих стихах Тициан Табидзе словно бы выкрикнул «голосом бычка, обреченного на заклятие» печаль прощания с прошлым и надежду на будущее, свою веру и отчаяние, любовь и ненависть.

К счастью, любовь и надежда взяли верх, и поэт в те годы выразил нежнейшую, на редкость искреннюю любовь к родной земле, народу, человеку и вообще к жизни на земле. И все-таки, за небольшим исключением, эти стихи не отвечали поставленному на повестку дня требованию партийности литературы. Наделенные в определенный период политическими правами пролеткультовцы яростным нападкам подвергали эстетизм Тициана Табидзе, его общественный индифферентизм и несовременность. Действительно, поэту понадобилось немало времени, чтобы стереть из собственной памяти цвет любимых голубых рогов. Но ведь это зависело не только от его доброй воли... Что же касается официального и окончательного прощания с символом «Голубых рогов», то это случилось в 1928 году, когда Тициан Табидзе опубликовал стихи «Не удивляйся» и «Если ты брат мне...»

«Не удивляйся» — можно назвать исповедью поэта, публичным признанием своего «дезертирства». Здесь он объявил во всеуслышание о своем «побеге»... Откуда? Из Халдеи, из прародины духа артистизма в представлении «голубороговцев», из того созданного мечтами и вымыслом города, чье небо и в период создания этого стихотворения милосердно сияло над его головой и оплакивало когда-то преданного ему Пьеро:

Эшафотом стояла Халдея,
Это небо до сих пор плачет надо мной...
Разве сердце всегда — скала и камень?
И однажды я стал дезертиром...

(Подстрочный перевод)

В 1928 году Тициан подходит к доске, исписанной старыми стихами, и начинает их стирать, ибо у поэта не остается другого пути — эти стихи уже не годятся для нового времени, это слово не могло погасить огня, зажженного «столпом урагана», огня, с которым нельзя было справиться голыми руками, так же как нельзя горстью вычерпать необозримое море... Ему пришлось жить в эпоху битв, и он был вынужден ввязаться в эти битвы, чтобы сохранить

жизнь, спасти свое поэтическое слово. А для этого прежде всего было необходимо стереть те старые стихи, которые он писал кровью:

И старые стихи, написанные кровью,
Стираю с ученической доски...

(«Не удивляйся». Перевод Л. Мальцева)

При чтении этих строк становится очевидным, что поэт хотя и отрицал написанное им прежде, но считал его органической частью своей жизни, своего творческого развития. Новая обстановка, борьба с различными силами требовали отсечь эту неотделимую от него часть, ибо лучше было пролить кровь, чем истечь кровью. К этому обязывали поэта его национальное и гражданское сознание, тревога за судьбу грузинского искусства и поэзии. В частности, к такому акту призывала его также характерная для него любовь к жизни, к миру, к прекрасному во всем сущем.

Стоицизм, с одной стороны, и чрезмерную любовь к жизни, с другой, Т. Табидзе обнаружил еще в стихах, обращенных к Сергею Есенину, посвященных его уходу из жизни, в которых признает его самоубийство ошибкой, ибо, по его мнению —

Самоубийство — увы! — не спасенье,
Кровь приобщается крови другой...

(Перевод Л. Озерова)

Он даже как будто упрекает Есенина:

Разве в спасение сердца не верил?
Разве о жизни не думал всегда?

В том же 1928 году Тициан Табидзе призывает своих соратников по перу приобщиться к новой жизни. Проблема «возвращения к земле», поставленная «голубороговцами» еще в 1922 году, как видим, оказалась не так-то легко разрешимой. Для этого им понадобилось почти десять лет. Решающий шаг на пути «возвращения к земле» сделал Тициан Табидзе в своем стихотворении «Если ты брат мне...», в котором со всей полнотой выражены любовь к родной земле, привязанность к жизни, чувство долга перед родиной.

В 30-е годы, после периода кризиса как в общественно-политической и экономической жизни страны, так и в индивидуальной духовной жизни художников, Советская Грузия постепенно набиралась сил, крепла. Закладывались стройки, началось осушение Колхидских болот, завершилась реорганизация системы просвещения, упразднялось на литературном поприще господство пролеткультовцев и вообще всевозможных писательских группировок, развивалось сельское хозяйство, ширилась электрификация... Это были факты, отрицать

которые не мог ни Тициан Табидзе, ни другие грузинские писатели. И поэт всей душой радовался достижениям своей страны.

И вот он берется за разработку новых поэтических вопросов, стоявших на повестке дня социалистического строительства. Им написаны три поэмы: «Восемнадцатый год», «Рион-порт» и «Роальд Амундсен», создан стихотворный цикл «Всем сердцем» и множество других стихов, изображающих обновленную жизнь грузинских городов и деревень, в которых вывется образ нового человека — строителя советской жизни, в которых звучит вера в грядущую победу. В 1934 году на Первом съезде советских писателей Т. Табидзе обратился к присутствующим с такими словами: «Выразить пафос нового социалистического строительства и освобожденного труда — вот дело доблести нового человека, фундамент оптимистической поэзии; и мы обязаны найти средства, чтобы все это выразить».

И такие средства Т. Табидзе нашел, использовал в своих стихах, поэмах и очерках, отображавших новую жизнь не только в Грузии, но и в Армении, в Средней Азии и многих других республиках и областях страны. В 30-е годы, в соответствии с требованиями социалистической литературы, поэт художественно обработал такие темы, как дружба народов, социалистическое строительство в деревне и городе, Октябрьская социалистическая революция и новый человек — строитель коммунизма, и т. д. Параллельно со стихами, написанными на эти темы, им созданы такие блистательные образцы современной грузинской поэзии, как «Рождение стиха», «Так же просто, как в долине Мухрани...», «Алавердоба», «Важа Пшавела на Мтацминда», «Александр Пушкину». В них читателя очаровывает прежде всего простота передачи поэтических мыслей и чувств, изящество линий и красок поэтических образов — та великая простота, благодаря которой столь привлекательными и впечатляющими предстает перед нами период творческой зрелости художника и созданные им тогда произведения. Это тот этап в жизни художника и, в частности, Тициана Табидзе, когда для него характерно уже не увлечение любовью, но созерцание любви и наслаждение ею — любовью к жизни, к прекрасному, единством их ощущения.

В стихотворении, посвященном Сергею Есенину, Т. Табидзе с такими словами обращался к своему другу и товарищу по перу:

Стих хлестал из тебя, словно кровь,
Незаживающая рана сердца...

Этими словами Тициан определил и природу собственной поэзии — в самом деле незаживающей раны сердца, которую можно сравнить с незатянувшейся раной, пылающей и пульсирующей, невольно потрясающей нас, ошеломляющей и околдовывающей. И эта рана — рана сердца, сраженного любовью к жизни, той любовью, в огне которой закалены были его лучшие стихи:

Слов не бросаю, чтоб сразу, тотчас
Они сливались в стихотворенье,
Когда над ним я сосредоточусь —
Пугает даже сердцебиенье.

И коль выходит в труде заминка,
То злого умысла в этом нету,
Я лишь таинственная сурдинка,
И сердце ищет дороги к свету.

И орошенных любви печалью,
Своих ты песен, чьи буйны всходы,
Сам не узнаешь, как зазвучали,
Коль их подхватит свирель народа.

Созвучий нити ты постепенно
Бессонной ночью сплетай, бессонный.
Примчится ливень с дождем и пеной,
И содрогнешься, стихом пронзенный...

(«Рождение стиха». Перевод Л. Мартынова)

Стих — обвал снегов, стих — лавина. Таков был принцип поэтического творчества Тициана Табидзе, его художественное кредо, которое он сумел воплотить в слове.

Перевод Ананды БЕСТАВАШВИЛИ

«ЧАШНИКИ» — 250 ЛЕТ

Грузинский трактат по поэтике «Поучение о сложении стихов и начало первой книги Чашники, найденной Мамукой Бараташвили в старинных сочинениях», вошедший в историю грузинской литературы под названием «Чашники» («Проба»), был создан в 1731 году в Москве.

Автор его, Мамука Бараташвили, будучи оруженосцем царя Вахтанга VI, в 1724 г. в составе свиты следует за ним в Россию. Перу Мамуки Бараташвили принадлежит множество стихотворений и поэм. Но особенно интересен он как теоретик стиха.

«Чашники», подобно другим работам литературно-теоретического характера того времени (Буало и др.), представляет собой образец нормативной поэтики. Ярче всего это проявляется там, где автор говорит об искусстве стихосложения. Осуждение смешения размеров («все произведение одним голосом должно быть сочинено») берет свои истоки из «Поэтики» Аристотеля.

Несомненно и влияние восточной поэтики, хотя мы не можем указать на непосредственный литературный источник (Г. Микадзе). Надо думать, просвещенный царь Вахтанг VI, по желанию которого был написан «Чашники», снабдил своего придворного и соответствующей информацией.

В грузинской научной литературе не была поддержана мысль о том, будто «Чашники» является реставрацией старой поэтики. Указания на то, что книга найдена Мамукой Бараташвили «в старинных сочинениях», — всего лишь стереотипная фраза, характерная для средневековых авторов, которые считали произведение тем более компетентным, чем оно древнее (Дж. Чумбуридзе). Вспомним Руставели: «Этот дивный сказ... я нашел и, спев стихами...»

Правда, «Чашники» не является реставрацией старой поэтики, но, как отмечал исследователь и издатель трактата поэт Г. Леонидзе, «...поэтика Руставели, метры чахрухаули, дзагнакорули, пистикаури и проза «Висрамиани» дают все основания полагать, что в XII веке у нас имелся свой собственный кодекс изящного вкуса».

«Чашники» является типичным учебником поэтики: начинается он со вступления, в котором рассмотрены роль и назначение поэзии, затем следуют правила стихосложения, заканчивается трактат хрестоматией. Не считая хрестоматии, «Чашники» состоит из трех частей. «Стих нечто важное среди дел мирских» —



так начинает автор свое сочинение. Основную мысль первой части трактата можно передать следующими словами автора: «Итак, следует, чтобы стихотворец не сочинял стихов о недостойных историях». Содержание второй части выражено вкратце в положении: «Стихи бывают разных голосов» (голос — версификационный термин, размер стиха. А. Гацерелия). В третьей части автор говорит о самом главном — «как стихи слагать».

«Чашники», в первую очередь, является учебником метрики. Он учит сложению стихов. Его автор — главным образом версификатор. Как теоретик и поэт большое значение он придает метрическим новшествам.

С целью анализа структуры грузинского классического стиха, построенного на принципе изосиллабизма, в первую очередь следует установить структуру стихотворной строки.

Анализ размеров М. Бараташвили начинается с показа схемы строки с помощью вариации слова «миджнури» («любимая»). В «Чашники» размер стиха передается определенным словом, как это принято в арабско-персидских учебниках поэтики (Г. Микадзе).

Самой малой ритмической единицей строки является колено. Строку Мамука Бараташвили считает комбинацией колен. Величина колен определяется количеством слогов.

Для передачи на языке современной метрики составленной Мамукой Бараташвили системы необходимо обратиться к помощи цифр, а не стоп. Схема шаири: миджнуроба/миджнуроба/миджнуроба/миджнуроба должна быть передана таким образом: 4/4/4/4.

В «Чашники» колена делятся цезурой.

Слова «цезура» в «Чашники» нет. Вместо него употребляются термины «раздел», «разрез». По мнению Мамуки Бараташвили, цезура является метрическим регулятором строки. В «Чашники» после колена по значительности роли следует цезура.

Регулируемые цезурами колена создают стихотворную строку. Но разговор о конструкции строки на том не заканчивается. Обращает внимание следующее место «Чашники»: «Окончания стихов не сложатся, если множество букв друг другу равно. Нужно так: слово должно быть созвучно слову».


Упомянутые окончания стиха являются той же рифмой (А. Хачанашвили). По мнению автора «Чашники», для рифмы обязательное согласование целых слов, но не отдельных звуков.

На этом изначальном этапе теоретического мышления в области поэтики природа рифмы определена верно. В отличие от других систем стихосложения в грузинском языке рифму создаст согласование акустически одних и тех же или схожих СЛОВ, а не одних и тех же или схожих ЗВУКОВ.

Характер рифмы, ее длина и краткость зависят от внутренней структуры строки. Бараташвили вносит понятие ТЕЛА («тело строки»). Концы строки должны согласоваться с телом.

Далее М. Бараташвили вносит понятие «главы» («заглавное колено»). Каково заглавное колено высокого шаири, таково и второе, третье и четвертое колена.

Следует отметить, что понятия «тело» и «глава» заимствованы из «Чашники» поэтом Д. Гурамишвили («Сделай с телом что угодно, но главу не сотряси»). Вообще реформируя грузинский стих, Д. Гурамишвили часто пользовался «Поучением...» Мамуки Бараташвили.



Таким образом, из внутреннего мира строки автор «Чашники» выделяет три композиционных элемента: глава, тело и конец.

Такой детальный анализ стихотворной строки необходим потому, что, по мнению М. Бараташвили, в основном именно ритм строки и создает голос стиха, и найти этот голос — первостепенная задача стихотворца.

Мамука Бараташвили же дал нам и первые классификации примеров найденных им голосов — схем, размеров, видов грузинского стиха.

В основу классификации положены метр строки, внутренний ритм, строфика и рифма. Мамука Бараташвили сначала же определил, что для грузинской метрики, наряду с количеством слогов, решающее значение имеют характер и расположение колен в строках. По версификации М. Бараташвили шаири и грдзелшаири (длинный шаири) — это два самостоятельных голоса, несмотря на то, что оба содержат 16 слогов.

Всего в «Чашники» рассмотрено 29 стихотворных форм.

Достоинство метрики «Поучения...» заключается и в том, что автор не довольствуется описанием размеров. В первом же памятнике грузинского стиховедения преодолен барьер описательной поэтики. Во второй части трактата специально указано, что для каждой истории нужен голос определенного лада. Голос стиха должен соответствовать характеру и объему рассказанного (истории). Но автор «Чашники» знает, что соотношение размера с характером и объемом сказанного не подлежит строгой закономерности. Во время суждения об этом предмете он осторожен. Выражения: «лучше складываются», «так будет неплохо», «хорош для длинного повествования» и другие указывают на то, что автор «Чашники», обучая стихотворцев, проявляет больше такта и уверенности, чем отдельные рационалисты-нормативисты той эпохи.

По мнению М. Бараташвили, поэт одинаково должен владеть искусством стихосложения и выбора темы. Автор ставит проблему гармоничности формы и содержания произведения (Г. Микадзе). Если учитывать тогдашний уровень развития литературоведения, то правильный ответ на этот кардинальный вопрос теории (хотя бы в такой простой форме) еще более поднимает общее теоретическое значение «Чашники».

Таким образом, метрика не исчерпывает собой все содержание «Чашники». Мамука Бараташвили не останавливается «только на версификации». «Чашники» — книга обучения стиху. Она учит, о чем следует и не следует писать и как следует писать.

М. Бараташвили жестоко осуждает стихотворцев, лишенных национального сознания, не руководствующихся морально-религиозными идеалами.

В «хороших историях», которые Мамука предлагает выбирать для стихотворения, на первом плане — истории о прилежном учении, героических делах, любви к родине. Будучи поэтом и ратником, он верует в силу воздействия поэзии. «...Человек станет смелым, захочет воевать... и стих будет использован против врагов веры, царя и отечества», — пишет он. Трудно цитировать эти слова без волнения. Во времена политических затруднений, физического и духовного бессилия автор «Чашники» в качестве

идеала предлагает грузинским писателям боевой стих, поэзию, вдохновляющую на победу над врагом родины.

Среди многих вопросов, поднятых в этом небольшом трактате, дается ответ еще на одну важную проблему — какова природа грузинского стиха, к какой системе стихосложения принадлежит он.

Автор «Чашники» считает, что грузинский стих находится в рамках силлабической системы. Это подтверждается многими обстоятельствами:

1. Хотя в «Чашники» и не встречается прямого указания на слог, как самую малую единицу, строящую колена, очевидно, что система Мамуки Бараташвили строится на слоге, на принципе уравнивания слогов в строках стиха.

2. Понятие ударения незнакомо Мамуке Бараташвили. В строке стиха он не видит чередования ударных и безударных слогов. Для него не существует понятие стопы как элемента стихотворной схемы (А. Гацерелия).

3. Автор «Поучений...» придает большое значение цезуре, что характерно для силлабического стихосложения.

Мамука Бараташвили уже тогда безошибочно определил особенности характера грузинского стиха. Классическая поэзия, руставелевский стих, метрические новшества периода Возрождения, с учетом которых М. Бараташвили строил свою теорию, дали ему возможность прийти к единственно правильному выводу.

И если версификационная система М. Бараташвили не заняла прочного места в грузинской поэтике, причину этого следует искать в позднем издании трактата, в невысоком уровне ранних публикаций (в 1900, 1920 гг.) и утверждении в грузинском стиховедении силлабо-тонической теории.

«Чашники» и сегодня имеет не только историческое значение: этот маленький трактат заложил основу грузинского стиховедения.

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК И ЛЮБИЛ ЛЮДЕЙ

САМЫЕ хорошие книги—это книги о хороших людях. Если удалось написать хорошего человека, значит вещь удалась. Я об этом подумал, прочитав новую повесть Нодара Думбадзе «Кукарача». Герой повести, участковый уполномоченный, лейтенант Георгий Тушурашвили, — человек удивительный, я бы сказал, необходимый.

Кукарача — прозвище лейтенанта, а по прозвищу всегда можно узнать, как к человеку относятся в кругу его друзей и знакомых, в прозвище — неприязнь или любовь. И если бы в этом странном слове из популярной довоенной песенки не выразилось бы в общем доброе отношение к милиционеру лейтенанту, Думбадзе назвал бы свою повесть, очевидно, как-то иначе, не прозвищем, а, скажем, именем героя. Название, как и язык повести, стилистически окрашено. Мне, сверстнику Думбадзе, запомнилось несколько строк из песни (привожу по памяти), давшей название повести.

За Кукарачу, за Кукарачу
Я отомщу,
Я не заплачу, я не заплачу,
Но обиды не прощу!

И все эти годы Думбадзе, должно быть, действительно мучала обида, мучала память. Тушурашвили был убит в мае 1941 года. Спустя почти сорок лет, в роковую для жизни Нодара Думбадзе ночь, за полчаса до второго инфаркта, приснился ему участковый уполномоченный: «Кукараче по-прежнему было 21 или 22 года, мне за пятьдесят, но он, как и прежде, поучал и наставлял меня».

Как и прежде... А ведь еще древние спрашивали: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Кукарача жил и дрался за жизнь, он был нужен людям, нужен был детям. Оказалось, что он нужен нам и сейчас — рассказ о его жизни поучителен и злободневен.

Написав лейтенанта милиции таким, каким он был, Думбадзе как бы отомстил за него — Кукарача живет опять... Живет в повести Думбадзе, чтобы утверждать высокие начала нравственно зрелого, здорового общежития.

Нодар Думбадзе. Кукарача.
«Дружба народов», № 1, 1981.

Поиски нравственной истины, того, на что человек может внутренне опереться, характерны для Думбадзе-рассказчика и для этой его повести в особенности.

В доме одного из своих подопечных (здесь участковому симпатизируют, он дорожит этим домом и приходит сюда, как на экзамен) Кукарача знакомится с некоторыми евангельскими изречениями и просит, чтобы ему дали на два дня эту книгу «в черном переплете» — он ее хочет почитать сам и почитать в милиции. Он приходит к мысли, что к строгим заповедям нравственно чистой жизни надо приобщить «детей в школе и дома».

И все эти крайности, эти «несовременные» и «несвоевременные» мысли оттого, что участковый очень хочет привить детям мораль, которая оберегала бы их от ложных, от гибельных шагов.

Но еще Достоевский говорил о том, что в человека надо выделаться, что нельзя стать хорошим человеком разом, усвоив лишь хорошие заповеди или лозунги.

Нравственность — это даже не мысль (афоризм, заповедь, лозунг), это любовь к жизни и к людям.

Есть в повести ключевой для всей вещи эпизод. Кукарача отвечает на вопрос, как он, работник милиции, понимает идейное воспитание, правильное направление духовной жизни и что он знает о духовном и душе вообще. «Душа есть душа, а духовная жизнь, — несколько наивно объясняет участковый, — это кино, театр, живопись, музыка... И еще любовь ко

всему этому и вообще любовь!»

В этих бесхитростных словах — важнейший из уроков повести: без любви, без жизни сердца в широком смысле этого слова нет нравственности, нет, следовательно, и духовной жизни.

Жизнь участкового была полна любви и была духовно наполненной — он, как говорили встарь, был глазами слепому и ногами хромоту. «Укуси кого-нибудь блоха — к Кукараче побежит, не к кому-нибудь. А дела поважнее и подавно не решались без участкового». Доброта, благорасположенность к людям не изменили Кукараче даже тогда, когда он как участковый столкнулся с сумасшедшей и несчастной семьей Моисея Шаптовили. Здесь доброта скорее изменила автору повести, но не его герою.

...Жил человек и любил людей. Казалось бы, ничего особенного. Кукарача и на войне отличился вроде бы случайно. Я вырос в Грузии и помню одного из прототипов Кукарачи, батумского парня с красной густой шевелюрой, помню даже его фамилию — Сулаберидзе. Он вернулся с финской героем. Оказалось, что он со своим танком угодил в ров и когда один из танков противника взял его «на буксир», он завел свой более мощный танк и потащил противника в обратную сторону, к своим.

Весь наш город восхитился подвигом Сулаберидзе, а мы, мальчишки, завидев его, картинно восседающего на мотоцикле, бежали за ним и кричали «ура!».

С добрым, каким-то улыбочивым юмором рассказывает Думбадзе об аналогичном подвиге Кукарачи, захвагившего не один, как это сделал его прототип, а целых два танка.

Молва о геройском поступке участкового, конечно же, помогает ему наладить добрые отношения с мальчишками своего района. Но как лейтенант милиции Кукарача ничем не подкрепляет своей репутации героя. Он целыми днями возится с подростками, он буквально нянчится с ними — то он озабочен тем, что дети рыбу в речке отравили, то они курят и он им читает статью из энциклопедии о вреде никотина, то они тонут и он спасает одного из мальчишек, а затем просит их не говорить никому, что он, Кукарача, не умеет плавать...

За время работы в милиции один только раз удалось участковому арестовать опасного вора-рецидивиста, и то он отпустил его — об этом просила женщина. Кукарача решил, что важнее спасти женщину, нежели арестовать преступника. Эту его мысль можно, конечно, оспорить, но она совершенно в духе активной (не всепрощающей, но активной) доброты участкового.

Не исключительные подвиги в исключительных обстоятельствах (в сюжете повести нет ничего детективного), а само собой разумеющееся чувство любви к ближнему сделало Кукарачу героем. «Что-то я не слышала про пойманного тобою бандита», — поддевают участкового. И этот вот легкий налет иронии и юмора разнообразит и

оправдывает патетическую в целом манеру письма Думбадзе. Патетика ее жизненная и она соответствует поставленной писателем задаче — показать личность обыкновенную, может, даже чудачковатую и вместе с тем крупную.

На некую романтическую исключительность притязает поначалу Муртало — антипод Кукарачи, вор и подонок. Он читает Есенина, Гумилева и Галактиона Табидзе, держится каких-то принципов — не ворует (из патриотизма, что ли?) на территории Грузии, красиво ухаживает за Ингой — посылает ей каждый божий день розы... Но все это, как оказалось, — игра в воровскую романтику, некогда кружившую нам, подросткам, головы и теперь так искусно воссозданную и избалованную Нодаром Думбадзе.

«Боялся одного, — говорит Муртало красавице Инге, — уйти из жизни без любви...» Такие же слова говорит Инге Кукарача: «И несчастен тот, кто ушел из жизни, не полюбив...»

Любовь — как пробный камень. Любовь не спасла Муртало, потому что он любит только себя, он неспособен на ответные чувства и нет в нем благородства, желания ответить на добро добром. Он вероломен, а вероломство — величайший порок. Именно поэтому, когда он подло убил Кукарачу, «ни один тбилисский адвокат не хотел брать на себя защиту Муртало». А Инга, имевшая несчастье любить Муртало, даже восхищается им, выхватила во время суда пистолет и пустила в Муртало семь пуль:

- «— И что же?
— Она промахнулась.
— Семь раз?
— Семь раз.
— Невероятно!»

Так кончается повесть. И это не мелодрама, это народные, если хотите, даже фольклорные страсти: низость должна быть наказана сейчас, сию минуту... Семь пуль, пущенных в Муртало, — это семь пуль сиюминутной справедливости. И, увы, все семь мимо: справедливость не бывает быстрой, как пуля. Люди остро жаждут справедливости, и люди кричат: «Да поразит тебя гром!» Но гром не поражает, а зло торжествует и оказывается живучим, как Муртало...

Жизнь участкового оборвалась за месяц до войны. Началась Великая Отечественная, и волновавшая весь Тбилиси тема жизни и смерти Кукарачи забылась. И, казалось бы, навсегда.

Но даже в этой всесветной, всенародной войне память об участковом не умер-

ла. Миллионы и миллионы жертв и один-единственный человек.

А человек, он ведь всегда единственный.

Как Кукарача.

Человек, он ведь всегда неповторимый.

Как Кукарача.

И в этом тоже один из уроков повести Нодара Думбадзе. Война и погибший накануне участковый — эта мысль присутствует в повести. Думбадзе обронил ее в финале. И от нее, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги...

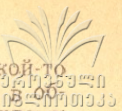
Мне представляется плодотворной, представляется современной мысль Чингиза Айтматова о том, что «сейчас, быть может, особенно важна способность литературы научить каждого из нас думать о другом, как о самом себе». Лейтенант милиции Георгий Тушурашвили, славный человек Кукарача, тем и хорош, тем и прекрасен, что не только думает о другом, как о самом себе, но и умирает за другого, умирает за других...

Левон МКРТЧЯН

ЗЕРКАЛО И РИТМ

ОТРАЖЕННЫЙ в зеркале предмет представляется совсем иным, чем он есть на самом деле. Своеобразными красками отражая реальность, зеркало

создает новый предмет. Краски эти имеют свой собственный ритм. Такие мысли овладели мной при чтении новой книги Мориса Поцхишвили «Зеркало в зеркале». Поэт сумел объективную реальность, окружающую нас действительность пропустить через горнило своей души и как в зеркале отобразить ее удивительными



красками и ритмом. По своему характеру и художественным достоинствам это качественно новая ступень в творчестве Мориса Поцхишвили. «Если бы ты всегда была рядом, так или иначе почувствовала бы, наконец, в эту эпоху я не жил, а только боролся»¹. Строки эти, на наш взгляд, выражают суть сборника, его моральный критерий.

Цельность — главное достоинство книги, пронизанной одной мыслью, одним чувством. «Поэтически обрабатываемая» качественно отличающиеся друг от друга предметы и явления, художник стремится к выявлению основной идеи. Все его чувства и мысли, все переживания сфокусированы в одной точке, служа выражению единого мировоззрения. Каждое стихотворение как бы продолжает и дополняет предыдущее. Но не все опубликованное в сборнике органично вписывается в него. На наш взгляд (мнение это субъективное, не претендующее на категоричность суждения), кое-что не стоило сюда включать. И не потому, что это плохо в силу несоответствия по своей специфике общему духу книги, как, например, «Галлюцинации старого жокея», «Весенний спектакль», «Удочка», «Три грации», «Волшебная палитра», «Аппликация», «Розовая коррида», «Сольфеджио жизни» и некоторые другие стихотворения. Рассматриваемые в отрыве от сборника в целом, они мо-

гут показаться в какой-то мере незначительными, в том же контексте каждому из них отведено свое «место» в поэтическом мире художника.

Возьмем, к примеру, «Конец»: «Все мы под конец соберемся вместе, чтоб навсегда разойтись и оторваться друг от друга». Или «Запоздалое отрезвление»: «В один прекрасный день никто не станет спорить... Но будет уже поздно». И еще: «Если из бездонного колодца памяти ежедневно не черпать воду, память сердца постепенно заглохнет».

Как эти стихи, так и похожие на них и взятые вместе, могли бы показаться лишь незначительными «зарисовками», не создавая они единого поэтического мира. Но попав в орбиту цельного поэтического восприятия, стали обязательными и необходимыми в книге, рождающей множество мыслей, быть может, не раз уже прочувствованных и наблюденных, но пробужденных с новой силой, заставляющих задуматься над сложными вопросами морали и жизни.

Перед нами снова встает образ поэта - гражданина, искреннего и правдивого, чуждого декларативности и фальшивой патетики. Принося ему удивительная камерность, интимность раздумий человека, оставшегося наедине с самим собой, столь характерная для современной поэзии и версификационно выразившаяся в малых или миниатюрных формах, вынудила Мориса Поцхишвили отказаться от бытописательства и сделать объектом своего поэтического

¹ Здесь и далее переводы стихотворений подстрочные.

внимания более глубокие жизненные явления.

Специфичность формы, как известно, имеющей огромное значение не только как объект эстетического восприятия, но и как идейный феномен, определила своеобразную манеру выражения поэтической мысли. Поэт не «разрабатывает» ее от начала до конца, а преподносит нам мысль-символ, которую читатель должен домыслить сам. Он оставляет «пробелы» в надежде, что тот сумеет их восполнить. Это, на мой взгляд, и есть проявление уважения к читателю, признание за ним права на соавторство. Но есть и такие стихи, в которых автор, добываясь поэтического эффекта, не может достичь социально-психологического обобщения. Вот, например: «Тянущаяся языком уставшей собаки красная трасса жадно лижет горячие колеса нашего автомобиля»; «Сердце, низведенное на уровень горя, разорвется, если опять не будет петь»; «Вы опоздали, метастазы опутали душу — уже не спасусь, любовь погубит меня».

Следует отметить также особое отношение Мориса Поцхишвили к названиям своих стихов. Мы бы не поняли большинства из них, если бы они оказались незаглавленными. Это именно тот случай, когда основная мысль вытекает из названия стихотворения, а само оно несет определенную нагрузку. Иной раз в заголовке заключается большая часть содержания стихотворения, и оно лишь дополняет наме-

ченную в нем мысль (к сожалению, в наших редакциях и издательствах это обстоятельство не учитывается и с заголовками художественных произведений обращаются зачастую весьма произвольно).

Тонко чувствуя ритм современности, ее морально-этические нормы, Морис Поцхишвили, не ограничиваясь узкими рамками их содержания, преподносит нам конкретные и обобщенные в общечеловеческом понимании противоречия нашего времени. Как поэт и человек он стремится к познанию сложнейших переплетений жизни. Извлеченные из глубин человеческого подсознания мысли поэт пытается облечь в своеобразную форму, не теряя при этом чувства меры (потеря его грозила бы переходом в абстракцию). Он всегда учитывает атмосферу, в которой живет, независимо от того, о чем говорится в стихотворении, — о жизни или смерти.

«Я взойду там, где хочу взойти и как хочу опять, взойду так, наверно, по твоей черной лестнице, бранный коварный мир!» В этих строках органично сливаются психология эпохи и обобщенный взгляд на жизнь.

Большое место в книге, как уже отмечалось, занимают морально-этические проблемы. Все поднятые в ней вопросы, социальные ли, философские или психологические, естественно, проистекают из общего морально-этического начала в широком понимании этого слова. Выдвигая на первый план сложнейшие вопросы

нашего времени, М. Подхшвили привлекает к ним внимание читателя, у которого создается впечатление, будто поэт пытается остановить поток, прорвавший дамбу, для чего не жалует ни сил, ни энергии, поскольку им движет единственная мысль — вернуть реке прежнее русло.

Разрушившая дамбу и хлынувшая в низину вода растекалась на множество рукавов. Но у всех у них один исток — большая река. Так же и в книге. Одна из ее основных линий — изображение проблемы жизни и смерти, бытия и небытия. Смерть признана поэтом одной из форм жизни, органичной и закономерной. И любовь — тоже обязательная форма жизни. Вот как связывает он любовь и смерть: «Встреча с тобой была для меня смертью, но, о, любовь, ты придала смысл моей жизни, и мою смерть озаряет только твой свет!»

Для стихов о жизни и смерти поэт избрал малую стихотворную форму, уже известную в современной грузинской поэзии (Мухран Мачавариани, Тариэл Чантурия). Но Морис Подхшвили придал ей свою, специфическую окраску, как нельзя лучше передающую минутные озарения, вспышки памяти и чувств. Иной раз такие стихи обладают большей убедительностью и познавательной ценностью, чем претендующие на исчерпывающую информацию, но часто ничего не говорящие. Именно в этом проявилась индивидуальность поэта, обусловившая свое-

образии формы его стихотворений. Разумеется, не все из них, посвященные этой теме, одинаково чатляющи (многие, быть может, спорны), но в целом они дают ясное представление о духовных устремлениях их автора, определяя его моральный облик. В этом плане лучшими можно назвать: «Конец», «Не забывай», «Смерти — жизни», «В ужасной войне», «Приговор», «Тот, кто умел», «Ужасная мысль», «Может быть что-то», «Не имеешь права», «Уходишь, но...», «Что-то кончилось», «О, какая сила...», «Недавно», «На кладбище», «Не оставляй ничего» и другие.

Лично мне спорными кажутся следующие строфы: «Зачем (ты) плачешь, какое (ты) имеешь право причитать, когда вечное соединилось с вечностью?»; «Кто жив, тот умирает только, мертвому ничто не угрожает»; «Сама смерть бесшумно делает дело, свое черное дело бесшумно делает она». У стихотворения «Тут и там» — крайне категоричный тон, в силу чего проведенная в нем поэтическая мысль лишена убедительности.

Для Мориса Подхшвили характерен показ явлений и предметов в психологическом разрезе. Основа подобных стихотворений — не всегда субъективно-индивидуального плана, но все они несут на себе печать психологии эпохи. Поэт пытается ответить на те острые вопросы, которые сегодня принято считать кардинальными и которые определяют морально-этическую



психологию времени. Он выявляет их не напряженным конфликтным отношением, не отрицанием и игнорированием чего-либо или кого-либо (что гораздо легче сделать), а с любовью, сочувствием и сердечной болью. И что особенно важно, Морис Поцхишвили, как уже говорилось, обобщает их и преподносит в своеобразной форме столь знакомую и незнакомую нам жизнь. «Бренный мир и кроит и намечивает историю нашей жизни по одной и той же выкройке», «Человек не теряет надежды — в противоположность ненависти он придумал любовь, печали и горю — радость, греховности — раскаяние, проклятию — молитву, злобе — благо и милость, смерти — бессмертие. Человек не теряет надежды».

В этом стихотворении есть и вечная тема, и боль человека, отмеченного печатью психологии эпохи. Пожалуй, лучшие стихотворения этого типа — «Надтреснутый звон», «Трусость», «Последнее предупреждение», «Тсс!», «Оптимистическая покорность», «Вопрос, который содержит ответ». Хотя в них есть и строки, с которыми можно не согласиться. Вот, например: «...мудрость, так же как и глупость, большей частью груз». В знакомой и простой форме передана иерархия жизненного бытия в стихотворении «Пародия в метро»: «Веселая пародия поднимания и опускания. Одни поднимаются, другие спускаются...»

Иной раз проскальзывает некая вульгарность, которая,

на наш взгляд, чужда поэтической и человеческой натуре Мориса Поцхишвили: «Затрепыхаюсь, как пойманный на крючок дороги пассажир»; «На арене всхлиплаю, как брошенная на горячую сковороду форель»; «И дышит, как выброшенная на каменный берег реки форель». Помимо всего прочего, эти образы вызывают знакомые ассоциации. «Там ты никого больше не побьешь, тут должен бить своего врага кулаками!»; «Чем еще тебя оскорбить... может цепью перерезать (себе) глотку, может мясо (с себя) содрать и по дороге кусок за куском давать (тебе) глотать». Эта строфа, по-моему, вызывает попросту неприятные, неэстетические ассоциации.

В некоторых случаях заметно увлечение поэта формой. Поэт часто обращается к вертикальному выделению слова, к подчеркнутой акцентировке. На наш взгляд, такой версификационный метод ничего не дает стиху. Он вызван лишь стремлением к поэтическому эффекту, к оригинальности. Если выделенные слова поставить в горизонтальном положении, лично я думаю, стихотворение ничего от этого не потеряет.

Одно из основных мест в поэтическом мире поэта занимает любовь, которая предстает в его стихотворениях как корень всего сущего на земле, поскольку все связано между собой любовью. Она — закон человеческого бытия. Все в жизни происходит, цветет и плодоносит благодаря ей. Хотя любовь в то же время

— источник страданий или «радости и страданий». Для поэта это понятие — многозначно и всеобъемлюще. И в книге оно не стоит обособленно, находя свое художественное выражение в конкретных явлениях и предметах.

Невидимыми нитями любви связан поэт с вечным и бессмертным понятием Ро-

дины («Представим оригинал», «Земля», «Просторное ложе», «Волшебная палитра» и др.), ярким поэтическим выражением которой является новая книга Мориса Поцхишвили «Зеркало в зеркале». Ее можно считать одной из интереснейших в сегодняшней грузинской поэзии.

Лерн АЛИМОНАКИ

ПО ПОВОДУ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА

С АМОЛЕТ летит в неведомую страну Мадрапур (Р. Мерль. «Мадрапур», 1976 г.). Но тягостны и странны условия полета, целиком зависящие от некоего центра, воля которого неизвестна никому — замечено только, что самолет покидают лишь умирающие. Пассажиры, люди разных профессий, разного социального положения, в этом своем полете в никуда бесконечно одиноки. Но и друг в друге они не ищут утешения и опоры, ибо их ничто не связывает, кроме неизбежного конца. «Экспериментальное исследование законов человеческого поведения» — так определяет эту книгу Г. Балашова (Современная художественная литература за рубежом. 1977, № 1, с. 83). А

вот повесть Макса Фриша, тоже экспериментальная. — «Человек появляется в эпоху голоцена» («Иностранная литература», 1981, № 1). Автор исследует душу своего современника, оставив его — по условиям эксперимента — один на один с последней послеледниковой эрой. Опуская подробности эксперимента, отметим только, что перед лицом надвигающегося хаоса у человека не находят опоры ни в чем и ни в ком. Такой вычлененный из общественных связей человек с неумолимой неизбежностью терпит поражение — господина Гайзера разбивает инсульт в его «пещере нижнего палеолита».

Тех, кто читал рассказ «Тогда я буду жить»¹, наверное, не слишком удивит, что я вспомнила о знаменитых авторах и глобальных проблемах, которые они ставят, в связи с этим, казалось бы, неприятательным рассказом.

¹ Н. Карашвили. «Тогда я буду жить». «Литературная Грузия», 1980, № 11.

«Я проснулась среди ночи от собственного крика и не сразу поняла, что это был сон — кошмарный и мучительный, но все-таки сон». Так начинается рассказ, и так начинается почти протокольное, клинически безукоризненно точное изложение истории болезни. Повествование в данном случае однопланово, в нем нет не только сложной, никакой вообще метафоричности, в нем сказано то, что может быть выражено прямым значением слов: человек опасно заболевает (следуют черты мельчайшей фиксации симптомов болезни), подходит к последней черте и не перешагивает ее (сопротивляемость организма и воля к жизни, искусство врачей, донорская служба, преданный уход близких). Но в чем все-таки секрет воздействия рассказа? Ведь он хватается за душу — иначе не скажешь. Повидимому, в том, что проблема клиническая здесь в конечном итоге становится проблемой нравственной, следовательно, перерастает в другую категорию. И — еще больше — в характере решения этой нравственной проблемы, в том, что человек — как и в вышеприведенных случаях, перед лицом надвигающегося хаоса — «вызван» на героизм, но в отличие от них оказывается на него способным.

«Может, я заболеваю? Нет, просто я безумно устала. Конечно, устала от всего. От перегрузки на работе, от житейских забот, от одиночества. Да, и от одиночества тоже». Трогательная и нечальная попытка спрятаться от того зловещего, что

надвигается, в привычное, ежедневное, будничное. Но оно неумолимо, и вот оно уже из ближайших утр: «...едва приподняв голову с подушки, я проваливаюсь в пропасть... Страшное головокружение поглощает меня без остатка: я лечу вниз и в то же время стремительно взлетаю вверх, непонятная сила вертит меня во всех плоскостях. И в этом безумном верчении я чудом формулирую одну-единственную мысль: «Как космонавтов в центрифуге»... Я перестаю ощущать, где «низ», где «верх», где «право», а где «лево». Единственная моя забота теперь — уцепиться. Но я не знаю за что! Ведь кругом одно только взбесившееся, вконец обезумевшее пространство...» Человек и хаос. Один на один. И человек этот — женщина, слабое существо, как говорили когда-то, во всяком случае существо «со слабостями» — о, как ей жаль, что до зеркала и гребешка в ее состоянии не дотянуться! Но релятивисты, очевидно, правы, когда говорят, что дважды два не всегда составляет четыре.

Кто она, героиня рассказа? Усталая, одинокая женщина с неустроенной судьбой или человек прометеевского склада? В том-то и сила воздействия, что и то, и другое — так оно и бывает подчас. Хрупкая женщина, нуждающаяся в заботе и защите («Должен же кто-то заботиться о тебе, глупышка»), отважный человек, не дрогнувший перед смертельным недугом, тем более страшным, что болен, мучительно страдает мозг.

ПАМЯТНИКУ ЖИТЬ В ВЕКАХ

В ЯРКИЙ праздник дружбы и братства грузинского и абхазского народов, всех народов многонациональной Грузии вылился митинг в Тбилиси, посвященный открытию памятника поэту и мыслителю, основателю абхазской литературы, языковеду, ученому-историку Дмитрию Гулиа.

Митинг открыл председатель исполкома Тбилисского городского Совета народных депутатов Г. Габуния.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе под бурные аплодисменты перерезал ленту, и взорам присутствующих предстал высеченный в камне образ народного поэта Абхазии.

Перед собравшимися выступили председатель правления Союза писателей Грузии, лауреат Ленинской премии Н. Думбадзе, директор Абхазского института языка, литературы и истории имени Д. Гулиа Академии наук Грузии, член-корреспондент АН республики Г. Дзидзария, поэт М. Мирнели, дочь Д. Гулиа — Татьяна Гулиа и другие.

На открытии памятника поэту - мыслителю также присутствовали товарищи Г. А. Андрикоашивили, П. Г. Гиладзе, А. Н. Инаури, Г. В. Колбин, Т. Н. Ментешавили, З. А. Пата-

ридзе Д. И. Патишвили, О. Е. Черкезия, Н. А. Танава, З. А. Чхеидзе, Т. И. Мосашвили, И. Н. Орджоникидзе, члены делегации Абхазской АССР во главе с секретарем Абхазского обкома КП Грузии Р. М. Бутба, деятели культуры Грузии и Абхазии.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ

ПО ИНИЦИАТИВЕ научного совета Руставского музыкального училища была организована встреча с председателем правления Союза писателей Грузии, лауреатом Ленинской премии Н. Думбадзе и лауреатом премии имени Ш. Руставели А. Сулакаури.

Выступившие на встрече известные грузинские писатели говорили о тех больших задачах, которые выдвинуты перед советскими писателями XXVI съездом КПСС и XXVI съездом Компартии Грузии, рассказали о своих творческих планах, ответили на многочисленные вопросы.

Творческий коллектив музыкального училища и хормальчиков Руставского дома пионеров представили литературно-музыкальную композицию по произведениям Н. Думбадзе и А. Сулакаури. Актеры Руставского драматического театра показали сцены из спектакля «Зурикела» по роману Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион».

40 2/7



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

На первой странице обложки: орел и лев. Рельеф восточного фасада храма Светицховели.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურული მხატვრობა“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და ხანგადაღობის პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

პანელის 1957 წლის იანვარი № 6, იანვარი, 1981

Слано в набор 7.V.1981 г. Подписано к печати 24.VI.1981 г. УЭ 01537. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 7.700 экз. Заказ № 1346. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина; 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

АМИРЭДЖИБИ Ч. «Дата Туташхиа». Роман. Пер. с груз. авт. Москва, 1981. 591 с. 100.000 экз. 2 р. 80 к.

ЧИЛАЯ С. «Я и мой профессор». Лит. хроника. Авториз. пер. с груз. А. Беставашвили. Авт. предисл. С. Чилая. Москва, 1981. 216 с. 30.000 экз. 1 р.

ДЖУСОЙТЫ Н. «Реки вспять не текут». Повести. Пер. с осет. авт. Москва, 1981. 398 с. 30.000 экз. 1 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ДУМБАДЗЕ Н. «Избранное». В 2-х т. Пер. с груз. З. Ахвледиани. Москва, 1981. т. 2. «Закон вечности». Роман. Рассказы. Послесл. А. Руденко-Десняк. 336 с. 100.000 экз. 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

СТУРУА М. «Марионетки». (По ту сторону). Москва, 1981. 96 с. 100.000 экз. 15 к.

«ВОЕНИЗДАТ»

ЧХЕИДЗЕ А. «Записки разведчика». (Рассказы-вают фронтовики. 1941—1945). Москва, 1981. 142 с. 65.000 экз. 40 к.

«ИСКУССТВО»

ДЖАНБЕРИДЗЕ Н., МАЧАБЕЛИ К. «Тбилиси. Мцхета». (Худож. памятники). Москва, 1981. 256 с. с ил. 50.000 экз. 1 р. 90 к.

«ХЕЛОВНЕБА»

ЧАЧАНИДЗЕ В. «Витязь в тигровой шкуре» на языках народов мира». На груз., рус., англ. и франц. яз. Тбилиси, 1980. 206 с. с ил. 10.000 экз. 2 р. 50 к.

60 კ

ИНДЕКС 76117

ბიბლიოთეკის
ნიშნობა

